

**Авраам Б. Иезошуа**



**ГОСПОДИН  
МАНИ**



ЛИМБУС ПРЕСС

Авраам Иегошуа  
**Господин Мани**

«Издательство К.Тублина»

1990

УДК 821.411.16  
ББК 84(5Изр)

**Иегошуа А. Б.**

Господин Мани / А. Б. Иегошуа — «Издательство К.Тублина»,  
1990

ISBN 978-5-8370-0745-3

Авраам Б. Иегошуа – один из самых читаемых в Израиле и за его пределами авторов. «Господин Мани» – наиболее известный его роман. Он представляет собой впечатляющую семейную сагу, охватывающую шесть поколений семьи Мани и огромное пространство событий: от Греции и Польши XIX века до подмандатной британской территории Палестины и оккупированного нацистами Крита в середине века XX, а затем и современный Израиль. Описав петлю во времени, эта насыщенная драматическими событиями история завершается в Афинах, в 1848 году.

УДК 821.411.16

ББК 84(5Изр)

ISBN 978-5-8370-0745-3

© Иегошуа А. Б., 1990

© Издательство К.Тублина, 1990

## Содержание

Диалог первый	6
Машабей-Саде, 31 декабря 1982 года, пятница, семь часов вечера	6
Постскриптум	45
Диалог второй	48
Ираклион, Крит, 1 августа 1944 года, вторник, вторая половина дня	48
Конец ознакомительного фрагмента.	58

# Авраам Б. Иегошуа

## Господин Мани

### *Роман в диалогах*

*Моему отцу Якову Иегошуа, достойному мужу иерусалимскому,  
знатоку истории своего города, – пусть будет память о нем  
благословенна.*

עשוה' ב. מהרשא  
נאמ רמ

\* \* \*

Copyright © 1990 by Abraham B. Yehoshua  
Translated from the Hebrew language: MAR MANI  
First published by Hakibbuz Hameuchad, Tel Aviv, 1990  
© ООО «Издательство К. Тублина»  
© ООО «Издательство К. Тублина», макет, 2019  
© А. Веселов, оформление, 2019

\* \* \*

#### В ДИАЛОГАХ УЧАСТВУЮТ:

Хагар Шило, студентка (р. 1962)  
Яэль Шило (урожденная Кремер), киббуцница<sup>1</sup> (р. 1936)  
Эгон Брунер, фельдфебель (р. 1921)  
Андреа Заухон (урожденная Куртмайер), до замужества – сестра милосердия (1870–1944)  
Стивен Айвор Гурвиц, лейтенант (1896–1973)  
Майкл Вудхауз, полковник (1877–1941)  
Эфраим Шапиро, врач (1870–1944)  
Шалом Шапиро, владелец мельниц (1848–1918)  
Абрахам Мани, торговец (1799–1861)  
Флора Хадайя (урожденная Молхо), домохозяйка (1800–1863)  
Ханания Шабтай Хадайя, хахам<sup>2</sup> (1766(?)–1848)

---

<sup>1</sup> Киббуцница, то есть жительница киббуца (букв., собрание, группа, *ивр.*) – коллективного поселения преимущественно сельского типа, с равным распределением труда и обеспечением материальных нужд его жителей.

<sup>2</sup> Хахам (букв., мудрец, *ивр.*) – титул раввина, знатока еврейского учения, в основном в восточных общинах.

## Диалог первый

### **Машабей-Саде, 31 декабря 1982 года, пятница, семь часов вечера Беседуют Хагар и Яэль Шило**

**Хагар Шило** родилась в 1962 году в кибуце Машабей-Саде, находящемся в тридцати километрах к югу от Беэр-Шевы и основанном в 1949 году. Ее родители, Рони и Яэль Шило, попали в кибуц в 1956 году, во время службы в Нахале<sup>3</sup>. Рони Шило погиб на Голанских высотах в Шестидневной войне<sup>4</sup>, в последний день боев. Хагар было тогда пять лет, и потому ей можно вполне поверить, что об отце у нее сохранились воспоминания – хоть и отрывочные, но отчетливые.

Хагар училась в средней школе ближайшего городка, но не получила аттестат зрелости, так как не сдала два выпускных экзамена – английский и историю. В армию пошла в августе 1980 года и почти все время служила в отделе социальной помощи новобранцам на базе десантников южнее Хайфы. Поскольку база находилась далеко от кибуца, то, получая увольнительную в середине недели, Хагар ездила в Тель-Авив и оставалась ночевать у бабушки Наоми, матери отца, к которой была очень привязана. Больше всего она любила расспрашивать Наоми о детстве отца.

Присутствие внучки, приносившей в дом жизнь, было приятно Наоми, и она уговаривала Хагар после демобилизации поступить в Тель-Авивский университет. И действительно, закончив службу, последние месяцы которой были весьма беспокойными из-за войны в Ливане<sup>5</sup>, начавшейся в июне 1982, Хагар – несмотря на возражения матери, считавшей, что перед университетом дочь должна хотя бы год поработать, как положено, в кибуце – убедила общее собрание отпустить ее учиться, тем более что обучение полностью оплачивалось Министерством обороны, помогавшим детям солдат, погибших на фронте. Хагар решила поступать на кинематографическое отделение факультета искусств Тель-Авивского университета, но поскольку у нее не было аттестата, ей предложили проучиться год на подготовительных курсах.

В начале декабря Наоми по настоянию сына, дяди Хагар, Бенциона Шило, ответственного сотрудника израильского консульства в Марселе, поехала к нему в гости, поскольку летом тому пришлось отказаться от отпуска на родине – Ливанская война взвалила на плечи дипломатов массу разъяснительной работы. Наоми не могла отказать единственному сыну – сорокалетнему холостяку, которого все еще надеялась женить. Она всегда считала, что именно в ее присутствии, скорее всего, завяжется какое-нибудь знакомство, и потому задержалась в Марселе, чтобы побывать на приеме, устроенном консульством по случаю Нового года.

Хагар, невысокая, быстрая и легкая в движениях, унаследовавшая от покойного отца каштановые волосы, пришла в восторг от мысли, что просторная и красиво убранная квартира бабушки будет полностью в ее распоряжении. Вначале она думала пригласить подругу, с которой познакомилась на подготовительных курсах, – девушку по имени Ирис, – пожить вместе

---

<sup>3</sup> Нахал – специальные части Армии обороны Израиля, где, получая военную подготовку, молодежь одновременно занимается сельским трудом, осваивая новые земли.

<sup>4</sup> Шестидневная война – война Израиля против армий Египта, Иордании и Сирии в июне 1967 г.

<sup>5</sup> Война в Ливане – начавшаяся 6 июня 1982 г. операция по разгрому баз террористов на юге Ливана, названная «Мир Галилее». Израильские войска действовали в Ливане до июня 1985 г.

с ней на бабушкиной квартире. Отец Ирис тоже погиб, только на Войне Судного дня<sup>6</sup>, и Ирис на редкость хорошо разбиралась во всех привилегиях, предоставляемых Министерством обороны детям павших. Но в конце концов Ирис не переехала, и надо сказать, для Хагар это оказалось к лучшему, потому что в начале декабря на бабушкиной квартире у нее начался роман со студентом-старшекурсником Эфраимом Мани, преподававшим иврит на подготовительных курсах. Роман начался очень бурно, но уже девятого декабря Эфраим ушел в армию, на ежегодные сборы резервистов, и его подразделение перебросили в Ливан, на западный участок, где все еще было неспокойно, несмотря на «мирный договор», заключенный между Иерусалимом и Бейрутом.

**Яэль Шило** (в девичестве Кремер) родилась в одном из пригородов Хайфы в 1936 году. Была активным членом молодежного движения «Маханот олим» и даже работала там инструктором. В 1952 году ее послали на год в кибуц Эй-Харод, из-за чего она не доучилась и не получила аттестата зрелости. В 1954 году Яэль присоединилась к группе «Реим», собиравшейся создать новое поселение, и в ее составе проходила подготовку в киббuce Кфар-Рош-ха-Никра. В группу, сложившуюся в основном из жителей пригородов Хайфы, вошли также воспитанники молодежного движения из Тель-Авива и Ришон-ле-Циона, среди которых был и будущий муж Яэль – Рони Шило, закончивший среднюю школу в Тель-Авиве. Они стали встречаться еще в Рош-ха-Никра. После того, как Рони прошел обучение в десантных войсках Нахала и летом 1956 года участвовал в двух военных операциях и, разумеется, в Синайской кампании<sup>7</sup>, Яэль и Рони вместе с товарищами по службе были направлены в кибуц Машабей-Саде.

Жизнь в южном киббuce пришлась им по душе, и, демобилизовавшись, они решили остаться там. В 1958 году Рони и Яэль поженились. Рони работал в поле, Яэль – на цитрусовых плантациях. В 1962 году, после поездки по Греции и осмотра ее достопримечательностей (экскурсия была организована Израильским географическим обществом), у них родилась дочь, которую они называли Хагар – как символ того, что они пустили корни в пустыне<sup>8</sup>. Спустя четыре года, в 1966-м, родился еще один ребенок, но он умер через неделю от острой желтухи, вызванной несовместимостью групп крови матери и ребенка, чему в родильном отделении безэр-шевской больницы не уделили должного внимания. На консилиуме было решено подготовиться к следующим родам как следует, но до этого не дошло, так как Рони погиб в конце Шестидневной войны в боях за Голанские высоты на шоссе Кунейтра – Дамаск.

Несмотря на уговоры родителей, в основном родителей Рони, бросить кибуц и вернуться в город, Яэль осталась с пятилетней дочкой в Машабей-Саде и даже еще прочнее связала себя с этим местом, хотя и знала, что шансы вновь выйти замуж в маленьком киббuce на краю света становятся год от года все слабее и слабее. Яэль по-прежнему работала на плантациях и даже стала главным специалистом по выращиванию авокадо. Во время Войны Судного дня, когда секретарь киббuca был надолго призван в армию, Яэль заменяла его, после чего несколько раз избиралась на эту должность, и все были ею довольны, хотя и находились те, кто упрекали ее в чрезмерной бескомпромиссности. Отношения с дочерью были близкими, но время от времени происходили срывы, и друзья неоднократно советовали Яэль пойти на курсы по проблемам воспитания и психологии ребенка, организуемые активистами кибуцного движения. Эти

<sup>6</sup> Война Судного дня (6–24 октября 1973 г.) началась внезапным нападением Египта и Сирии в Судный день (Иом-Киппур, ивр.) – день поста, покаяния и отпущения грехов, согласно еврейской традиции.

<sup>7</sup> Синайская кампания – военная операция против египетской армии (октябрь – ноябрь 1956 г.), направленная на прорыв блокады Тиранского пролива, единственного выхода Израиля в Красное море.

<sup>8</sup> Хагар (Агарь) – в Библии: служанка Сарры, родившая Аврахаму (Аврааму) сына Ишмаэля (Исмаила) и изгнанная впоследствии вместе с сыном в пустыню.

популярные курсы нравились ей, и она даже иногда ездила в Беэр-Шеву слушать лекции в университете, на отделении педагогики и психологии.

В 1980 году, хотя ей было уже почти сорок четыре года, Яэль согласилась пойти на вечер для незамужних и неженатых, также организованный киббуцным движением, но после этой попытки зареклась появляться на подобных вечерах навсегда.

Яэль опасалась, что, попав под влияние бабушки, ее свекрови Наоми, которая овдовела в середине семидесятых годов, Хагар уйдет в конце концов из киббуца.

Потому Яэль возражала против поступления дочери в университет сразу после армии, настаивая, чтобы она вернулась в киббуц и поработала там хотя бы год. Когда Хагар подала заявление с просьбой отпустить ее учиться, Яэль пыталась тайком настроить большинство «против». Но либерализм киббуцов в начале восьмидесятых годов во всем, что касается «самовыражения» молодежи, отслужившей в армии (попытка предотвратить бегство юношей и девушек в город), а также тот факт, что за обучение Хагар платит Министерство обороны, склонили общее собрание проголосовать не так, как хотелось бы Яэль. То обстоятельство, что Хагар жила у бабушки, позволяло им регулярно общаться по телефону, и мать с дочерью договорились звонить друг другу не менее двух раз в неделю, хотя в 1982 году в киббуце Машабей-Саде телефоны в жилые дома проведены еще не были.

### **Реплики Яэль в приведенном ниже диалоге опущены.**

- Ну даже если и пропала, то ведь ненадолго, и нечего было так волноваться...
- Нет, я звонила, честное слово, звонила. В среду вечером из Иерусалима...
- Конечно, в среду я была еще в Иерусалиме, и вчера тоже...
- И вчера, мама, и сегодня, и просила, чтобы тебе передали...
- Как «не передали»?
- Я знаю? Того, кто поднял трубку...
- Какой-то доброволец из Германии...
- А что я могла сделать, мама? Я не виновата, что в киббуце нет ни одного нормального человека, который может поднять трубку в столовой после ужина, потому что никому не хочется бежать по холоду к телефону. Попробуй как-нибудь дозвониться до киббуца поздно вечером, да еще зимой, и говорить с другого конца света по-английски с подкурренным добровольцем, который забыл, как держат в руках карандаш, тогда ты, может, поймешь, что сражаться с таким упорством против установки домашних телефонов было с твоей стороны не самым разумным. Будто от этого зависит судьба социализма...
- Да куда я не пропадала... Просто меня не было три дня в Тель-Авиве...
- Он? Чего это вдруг? Он в армии, в Ливане. Но как раз по его просьбе я и ездила в Иерусалим, к его отцу, и там застряла до сегодняшнего дня.
- По собственной глупости...
- Нет, снег пошел в Иерусалиме в среду вечером, а вчера от него не осталось и следа...
- Нет, он-то и дал мне это старое пальто, отец Эфи, господин Мани...
- Так я называю его про себя – *господин Мани*... Не знаю почему...
- Но в этом-то все и дело. Ради того, чтобы рассказать тебе все, я и приехала сегодня домой. Хотя, конечно, нужно быть совсем сумасшедшей, чтобы сидеть здесь с тобой вместо того, чтобы закрыться у бабушки и готовиться к экзаменам.
- Я тебе говорила: в воскресенье у меня экзамен по английскому, и очень не хотелось бы опять провалиться...
- Нет, учебники и конспекты остались в Тель-Авиве. В Иерусалим я поехала во вторник, налегке. Думала на несколько часов – сделаю то, что Эфи просил, и обратно. А потом вдруг вижу – придется остаться, и осталась на три дня...



– Нет, не через Тель-Авив... Прямо из Иерусалима. Надумала в последнюю минуту. Стою я на автовокзале в Иерусалиме – людей уже стало меньше, – стою в очереди на тель-авивский автобус и вдруг вижу мужчину, такого рыжего, пожилого, лицо знакомое – из наших краев, кажется, и вдруг так захотелось домой – бросить все и скорее сюда, на наш чудесный необитаемый остров, посидеть с тобой, рассказать обо всем. Не могу держать в себе, не помещается, надо скорее все выложить – как всегда, еще с детского сада. Помнишь, ребенок какой упадет или рисунок порвется, а меня уже распирает – готова целая история, надо тут же бежать искать тебя: «Мама, мама! Послушай, что случилось!...»

– Верно, ха-ха, мне всегда удавалось улизнуть и добраться до тебя. Я всегда находила... Как это ты говоришь?

– Точно, вот-вот – *случайно подвернувшихся отцов*, готовых всегда прийти мне на помощь, – и эта моя теория наверняка должна тебе понравиться – из чувства вины, что наш отец погиб, а они – нет, и потому они были так отзывчивы и передавали меня из рук в руки – из столовой в прачечную, из курятника в коровник, из конюшни на выпас, а оттуда на плантацию, и там среди деревьев была ты, мама, и я могла броситься к тебе и все рассказать. Так и сегодня, мама, стою я в Иерусалиме на полупустом автовокзале среди этих зимних меланхолических иерусалимцев, и вдруг отходит автобус на Беэр-Шеву, и этот рыжий сидит у окна и пялится на меня, наверное, тоже вспоминает, где меня видел. Тут я не выдержала, меня потянуло к тебе, я перепрыгнула через загородку, вскочила на ступеньку, и меня втянуло внутрь. Но завтра, мама, я должна вернуться пораньше в Тель-Авив и сесть за учебники, иначе мне и вправду конец. Надо выяснить, кто едет утром в том направлении. Если у тебя есть идеи на этот счет – скажи, а нет – подумай...

– Ладно...

– Минутку, подожди, не так сразу...

– Что – горит? Я еще не согрелась – внутри...

– Нет, горячая вода мне сейчас не поможет...

– Я бы, мама, только ты не сердись, обошлась бы без субботнего ужина в столовой...

– Неважно. Что-то же есть в холодильнике. Мне хватит, я совсем не голодная, честное слово.

– Ну если тебе так хочется есть и ты должна пойти, – иди. Я остаюсь здесь. Я искренне сожалею, но у меня не хватит терпения сидеть целый вечер в столовой и всем улыбаться... А потом еще новогодний бал... Все делают вид, что веселятся напропалую. И танцевать я не собираюсь – ему это может повредить...

– Ну хорошо, хорошо. Ты сходи. Раз надо... Иди, иди...

– Иди...

– Иди. Я уже жалею, что приперлась сюда вместо того, чтобы ехать прямо домой, то есть в Тель-Авив...

– Потому что я ехала не в киббуц, а домой, к тебе, мама, так хотелось поделиться...

– Никакой мистики... Не будь такой...

– Ну хорошо, может, немного и *мистично*... Может, ты как раз права, и это именно то слово: мистично... Что с того? Что плохого в мистике? Если человек, предположим, открывает дверь чужого дома и видит нечто такое, что приводит его в ужас, и у него перехватывает дыхание. Да, мама, дыхание перехватывает. Но мистичное, мама, не в том, что ужасает, уж если что-то ужасает, то оно должно быть реальным... Мистичность только в самой встрече, которая кажется случайной, но на самом деле совсем не случайна. Именно это и произошло со мной в Иерусалиме, хотя я знаю – ты мне, конечно, не поверишь...

– Потому что не поверишь... Тебя всю жизнь учили не верить в мистику, и ты уж, конечно, не поверишь, скажешь, что все это моя фантазия...

– Нет, в двух словах невозможно. В двух словах, мама, никак не расскажешь...

- Потому что, если в двух словах, то это и вправду будет выглядеть как фантазия...
- Знаешь что, мама? На самом деле все это неважно... Не стоит, чепуха... Иди ужинай, а я пока приму душ... Вся эта история не стоит выеденного яйца. И рассказывать тут нечего, я передумала... Только, пожалуйста, узнай, кто завтра едет с утра пораньше в сторону Тель-Авива и есть ли место в машине...
- Да, я действительно ничего тебе еще не рассказала, но мне заранее известна твоя реакция...
- Извини...
- Хорошо, извини меня, мама...
- Я же уже извинилась...
- Нет, по-моему, тебе сейчас совсем не до моих историй...
- Ты уверена?
- А как же субботний ужин в столовой, который ты никогда не пропускаешь? Может, лучше все-таки сходишь?
- Ты уверена?
- Ну что ж, если ты так решила, то и вовсе забудь про это. Давай сядем тут тихонько, плотнее задернем шторы, чтобы ни капельки света не просочилось наружу, и позволь мне, пожалуйста, раз в жизни запереть дверь на ключ... Где он?
- Ну, пожалуйста, мама, только сегодня, отгородимся от внешнего мира, чтобы никто вообще не знал, что мы тут, чтобы не заходили и не мешали... А если еще поставим чайник... Так где же ключ?
- Нет, потом, потом, мама... Я слишком разгорячилась: скорей, скорей рассказать – мне нельзя сейчас в душ... Потом, потом... Дался тебе этот душ...
- Платье несвежее? Ничего страшного...
- Нет, никаких перемен...
- Ну, может, время от времени чуточку поташнивает...
- Нет, никаких других признаков...
- Ты все еще надеешься?
- Но почему? Я же сказала тебе: я с первой минуты знала, знала, что это окончательно и бесповоротно и его генетическая формула уже записана во мне...
- Ну этого существа... зародыша, младенца... называй как хочешь...
- Посчитай сама: последний раз – девятнадцатого ноября, значит, задержка уже две недели... Никаких сомнений...
- Теперь уж зачем мне врач? Что ему во мне ковыряться? Что он скажет? Кроме того, в Иерусалиме меня как бы смотрел врач...
- Терапевт...
- Сейчас услышишь...
- Сейчас, сейчас...
- Ну сейчас, мама, минутку терпения...
- Он сказал... Но еще...
- Нет, только беглый осмотр...
- Не обольщайся, мама, это никакой не психологический самообман, это беременность. Понимаешь? Беременность! Слишком долго тебе промывали мозги на твоих курсах психологии для киббуцников, теперь ты во всем видишь только «подсознательное»...
- Пока ничего... У меня есть еще время...
- Прежде всего пусть Эфи вернется из армии...
- Через десять дней... Хотя это зависит не только от него.
- Признает он отцовство или нет – не от меня зависит. Что я буду делать – не имеет отношения... Захочу, могу вполне рожать и без него...

– Потому, что Министерство обороны, как я тебе уже говорила, помогает и в таких случаях, даже если у ребенка нет отца... Да, да, как видишь, там относятся, по всей вероятности, либерально...

– По крайней мере, к этому, может, из чувства вины... Я знаю?..

– Мне рассказала Ирис, она выясняла...

– Ирис все знает, мама, она на этом собаку съела. Знаешь, она время от времени отправляется туда, берется за них и не уходит, пока не узнает все, что есть нового. Выясняется, что у детей погибших существуют десятки всяких прав и привилегий, о которых мы даже понятия не имели...

– Я знаю, что тебе этот разговор неприятен. Что ты хочешь, не я его заводила...

– Отвратительно? Ну, это ты преувеличиваешь. В каком смысле «отвратительно»?

– Я же у них пока ничего не просила, и ничего... Чего ты сразу заводись?

– И про это я расскажу, я же неспроста примчалась к тебе, а ты не даешь мне рта раскрыть...

– Нет, правда, такое впечатление, будто ты боишься услышать мой рассказ, ходишь вокруг да около, переводишь разговор на другое. С того дня, месяц назад, когда я сказала тебе по телефону, что спала с ним... то есть вообще спала с мужчиной... наконец, твое отношение ко мне словно дало трещину, ты стала – не знаю, как даже сказать – растерянной, потеряла точку опоры, упустила, причем навсегда, вожжи, которыми ты направляла своего жеребенка...

– Да, да, вожжи, пусть и такие мягкие...

– Мягкие и незаметные...

– Конечно, конечно...

– Опять ты сердишься? Я не за тем приехала, чтобы раздражать тебя, честное слово.

– Хорошо, допустим, напугал тебя не сам факт, а то, что мне нужно было срочно сообщить тебе об этом на следующее утро. Так что? Даже если я требовала позвать тебя к телефону с плантации, чтобы ты могла услышать об этом великом событии. Что с того? С тех пор ты стала даже переживать – то, что раньше забавляло тебя в моих рассказах, стало пугать, и я спрашиваю себя, стоит ли взваливать на тебя все; выкладывать все, что взбредет мне на ум, все, что происходит со мной и во мне; ничего не скрывать, как будто для нас все еще является законом то, что говорила та психологичка, которую прислало Министерство обороны, когда погиб отец... Помнишь, она объясняла тебе, что надо поощрять ребенка, как можно больше говорить, даже попусту, чтобы он мог высказать все, что у него на душе, чтобы, как это она выражалась, «не скопился гной в тайниках мысли», ха-ха. С тех пор, мама, я словно и вправду боюсь загноения мозга, и потому болтаю без умолку, а ты должна все выслушивать, потому что, если не ты, то кто?..

– Он? Это еще время покажет... Что я, по сути, знаю о нем? А сейчас, после Иерусалима, кажется, еще меньше...

– Может, и в двух словах, но говорила...

– Неужто не рассказывала, как через две недели после начала семестра нам вдруг сообщили, что два его ближайших урока не состоятся... А о нем я тебе говорила еще в самом начале семинара, когда ты расспрашивала о преподавателях, что он мне понравился сразу, с первой минуты, как только вошел в аудиторию. Стоит такой мальчик, почти нашего возраста, курчавый, пылкий и даже трогательный, когда пытается убедить, что нам позарез нужны его уроки, на которых он учит, как правильно излагать свои мысли на иврите. Потому что были такие, которые даже обиделись, – зачем нам этот курс, да еще обязательный, будто мы какие-то недоразвитые... Когда нам сообщили, что занятий не будет, я решила сходить в деканат и узнать, что случилось, может, он заболел, тогда я бы его провела. Там мне сказали, что всего-навсего бабушка его умерла в Иерусалиме, и он поехал, чтобы побыть немножко с отцом... Тогда... нет, не может быть, чтобы я тебе не рассказывала...

– Короче говоря, узнала я адрес его отца и в тот же день поехала в Иерусалим, как бы выразить соболезнование – я знаю? – от имени всего класса, хотя в университете класс это не то, что в школе, и ты можешь себе представить, как он был поражен, увидев в дверях студентку, которая не проучилась у него и месяца, имя которой он едва ли запомнил, и вдруг она является одна-одинешенька, чтобы выразить соболезнование, да еще по случаю смерти бабушки, да еще приезжает специально для этого в Иерусалим. Когда он немного пришел в себя, оправившись от изумления и замешательства, то быстро понял, что я хотела ему сказать: что соболезнование мое не столько соболезнование, сколько знак, такой маленький намек на возможности дальнейшего, а поскольку видно было, что он не привык к таким явным знакам внимания со стороны девушек...

– Потому, что он вовсе не красавчик. Парень как парень, если и есть в нем что-то, то это душа. Поэтому он быстро подхватил конец каната, который я ему бросила, и решил – после того, как я, не находя слов от смущения, посидела немножко рядом с его отцом, который действительно выглядел очень подавленным, не так, как другие люди в годах, которые чаще всего, потеряв родителей, чувствуют прилив сил, – решил вернуться в Тель-Авив в тот же вечер, вместе со мной. По дороге в автобусе мы разговорились, сначала он выпросил все обо мне, о моих планах, о киббуце и о том, как живет в Негеве, а потом, увидев, что я говорю обо всем прямо и открыто, сам немного оттаял и стал рассказывать о себе – в первую очередь о бабушке, которая умерла и которую он очень любил, потом об отце, и меня тронуло, что он тревожится за него, потому что отец был очень привязан к своей матери, к этой самой бабушке, практически никогда не расставался с ней с детских лет и это она спасла его в конце войны.

– Они жили в Греции, как раз на Крите...

– Правда?

– Конечно, я помню рассказы о вашей поездке с отцом... до того, как я родилась...

– Нет, родители Эфи развелись давно, когда ему исполнилось двенадцать лет. Он переехал с матерью в Тель-Авив, там она снова вышла замуж, у него есть сводная сестра, но вся семья уже несколько лет живет в Англии полуизраильяне-полуангличане, а он тут один. Все это он рассказал мне еще по пути, но больше всего говорил о предстоящей военной службе в Ливане, я уже тогда чувствовала, что он просто в ужасе и очень зол, что университет не смог добиться для него освобождения от службы или хотя бы отсрочки...

– Нет, он санитар, простой солдат, максимум – младший сержант. Да, мама, уже по дороге из Иерусалима в автобусе между нами что-то началось, с каждой минутой он нравился мне все больше и больше, я почувствовала, что опять влюбляюсь, только на сей раз как-то правильнее и продуманнее, и когда мы приехали в Тель-Авив, я поняла, что если я сейчас же не найду продолжения и закрепления, то все усилия, затраченные на поездку в Иерусалим и обратно, пойдут насмарку. Ведь из-за его армии связь прервется на месяц, а потом, когда он вернется, останется всего месяц до конца семестра и, стало быть, до конца его курса, а у него больше нет бабушки, готовой умереть в ближайшее время, чтобы я опять могла явиться со своими соболезнованиями, а потому, хотя час был неподходящий, я вдруг попросила его проводить меня домой, то есть к бабушке, и, может быть, именно этот контраст (его бабушка, которой было шестьдесят восемь лет, умерла несколько дней назад, а моя, как я уже ему успела рассказать, в свои семьдесят пять упорхнула в начале недели во Францию, как молодая) заинтриговал его и заставил подняться вслед за мной в квартиру, где, как я думала, мы, может быть, максимум немножко пообнимаемся и поцелуемся, но нас словно неведомой силой прижало друг к другу, и он был такой тихий и мягкий и почему-то так поспешно стал раздеваться, и все произошло так естественно, и почти не было больно, так что я даже спрашивала себя: почему я ждала так долго, чего боялась? Или, может, в нем было что-то особенное, хотя – ты сама, наверное, увидишь – красотой он не блещет, парень как парень, в очках, курчавый, худой, ничего выдающегося. Поэтому утром сразу же, как он ушел, я бросилась звонить тебе...

- Почему? Просто, мама, порадовать тебя. А ты что думала?
- Да, даже если тебе пришлось прогуляться два километра с плантации и обратно. Я думала, что стоит, потому что моя застарелая девственность тебя, по-моему, давно уже изрядно тревожила...
- Как ты ничего не знала? Не такая уж ты наивная...
- Потому что, если бы что-нибудь было, ты бы тотчас же узнала... Я же тебе рассказываю все...
- Да, абсолютно все. Пока...
- Нет, до его ухода в армию было еще четыре раза... Всего пять...
- Он об этом не заботился, думал, наверное, что я предохраняюсь, а я – я же тебе говорила – немножко перепутала сроки и, кроме того, я думала, что если сразу пойти под душ...
- Конечно... Конечно... Ты, разумеется, как всегда, точно знаешь, что происходит в моем подсознании...
- Да, всегда у меня, у бабушки то есть, и, если тебе уж суждено знать все, – это было в ее комнате, прямо... держись крепче... на ее большой кровати.
- Что такого?
- Нечестно? По отношению к кому?
- Вовсе нет... Я уверена, что бабушку бы это только позабавило...
- Что-то тянуло нас туда... На ее кровать...
- Нет, просто так. Думала, тебе это будет интересно...
- Я знаю? Может, психологически... Может, у тебя найдется какое-то объяснение...
- Если мне ничего не мешает рассказывать, – почему тебе что-то мешает слушать, мама?
- Ты в своем уме? Кому я еще могу это рассказывать, кроме тебя?
- В каком смысле?
- Что «неважно»?
- Нет, скажи, что «неважно»?
- Мне кофе... Только ты все-таки скажи...
- Нет, я не думаю, чужой человек, услышав бы это, решил, что я ненормальная...
- Нет.
- Опять ты про свой душ? Опять что-то горит? Успеется... Мне все-таки кажется, что ты нарочно прерываешь меня...
- Чего тут бояться? Я не сделала в Иерусалиме ничего плохого, мама, только хорошее...
- Потому что тут история только начинается. Все, что я рассказывала раньше, это только предыстория. Итак, Эфи ушел две недели назад в Ливан, и не было от него ни ответа ни привета до начала этой недели...
- Нет, до его ухода я ему никак не могла сказать. Я и сама не была уверена...
- Конечно, но в воскресенье он вдруг позвонил поздно вечером со своей базы и, пока я судорожно соображала, сказать ему или нет, и если да, то как, он попросил меня об одолжении – связаться с его отцом – ему самому никак не удастся дозвониться в Иерусалим – и сообщить, что на шлошим<sup>9</sup> Эфи никак не сможет попасть, потому что в армии не считают эту причину уважительной и не дают ему отпуск. Я, конечно, пообещала все передать и была очень рада, что он так запросто обращается ко мне, словно теперь я ему близкий человек, но, когда я начала звонить в Иерусалим, оказалось, что все не так просто: то вообще нет ответа, то гудки «занято», и хотя я звонила целый вечер, ничего у меня не получилось. На завтра, в понедельник у меня была масса лекций в университете, и я пробовала всего три-четыре раза, а вечером опять позвонил Эфи из Ливана и спросил, говорила ли я с его отцом и что у него слышно. Я

---

<sup>9</sup> Шлошим (букв., тридцать, *ивр.*) – здесь: день поминовения умершего, который, по традиции, принято отмечать на тридцатый день после похорон чтением молитв у могилы покойного.

ответила, что, по-видимому, линия не в порядке, тогда, мама, он заговорил таким умоляющим голосом, словно без меня совсем пропадет, и попросил обязательно дозвониться до отца, он очень волнуется...

– Нет, я ему ничего не сказала. Как можно? Он и так нервничал из-за отца, и вообще он там в Ливане в дождь и в холод, да еще ко всему, как выяснилось, потерял очки и не может читать... И я решила: зачем осложнять ему жизнь именно сейчас, пугать, что он сам скоро станет отцом? Лучше пока оставить его в покое... В общем, в тот же день вечером я стала опять звонить в Иерусалим, на этот раз основательно, почти непрерывно, до полуночи, но телефон в Иерусалиме как заколдовали: то никто не подходит, то вдруг занято. Во вторник утром я специально проснулась пораньше и опять за телефон, но так же безрезультатно. Я набрала «16» – узнать, не повреждена ли линия, но они сказали, что нет, и посоветовали проверить, не поменяли ли номер, не сообщив абоненту, – такое тоже бывает. Я тут же набрала «14», но номер не поменялся. Тогда я, мама, уперлась – дозвониться и все, найти этого папашу, которого я как раз запомнила очень отчетливо после того, как увидела месяц назад в Иерусалиме: сидит себе на диване в гостиной, крепкий такой мужчина, типичный сефард<sup>10</sup>, из себя благовидный, без туфель, небритый<sup>11</sup>, а возле него две старушки-сефардки – как из греческого или итальянского фильма. Потом я звонила из университета на всех переменах, а часов в двенадцать даже вышла с лекции и звонила без конца, потому что, говорю тебе, просто уперлась – хоть умру, но дозвонюсь...

– Нет, Эфи не сказал, как его можно найти. Я, правда, смутно припоминала: что-то связанное с судом, то ли он судья, то ли прокурор, но в каком суде и где это... Я даже пробовала позвонить наугад по одному из номеров в Верховный суд, но там никто о таком не слышал. Так я звонила все утро, как одержимая, будто через меня, которое Эфи заронил в меня, все его страхи передались мне и не дают покоя. Перед глазами у меня все время стояла их иерусалимская квартира, немного похожая на вагон старого поезда, – три комнаты вдоль длинного коридора, и я представляла, как трезвонит там телефон и его лихорадочные трели разносятся по комнатам. Часа в два стало совсем уж неважно, и я решила: пропущу английский и поеду в Иерусалим, посмотрю своими глазами, что там такое на самом деле происходит. В конце концов, смотаться в наше время из Тель-Авива в Иерусалим – максимум час езды туда и час обратно. Я заскочила домой, бросила учебники и конспекты, переоделась и, слава богу, в последний моментхватила с собой этот свитер – даже в Тель-Авиве уже чувствовалось, что будет похолодание, и хотела позвонить тебе, мама, и сказать, что еду в Иерусалим – просто так, чтобы, если вернусь домой поздно, ты не волновалась, но я понимала, что правление уже закрыто, а в столовой в три часа дня у телефона сидят разве что только кошки, и махнула рукой, а перед самым выходом, будто по наитию, сунула в сумку зубную щетку и пару трусов...

– Не знаю. Так просто...

– Знаю, знаю – тебя научили, что в жизни ничего не бывает *так просто*. Только не распалаяй свое воображение – запасные трусы я таскаю с собой уже две недели – а вдруг все-таки начнется. А щетка? Почему щетка? Это ты должна объяснить, ты же у нас на курсах киббуцного движения изучала, какие бывают символы, тебе и карты в руки. Только не говори, что мое подсознание знало, что я останусь ночевать в Иерусалиме, потому что тогда стоило захватить и пижаму, не только щетку. Значит, то ли мое подсознание какое-то бестолковое, то ли у него есть свое подсознание, и оно сбивает его с толку...

<sup>10</sup> Сефардами (сфарадим, *ивр.*) называют евреев – выходцев из стран Востока, Испании, Португалии, Северной Африки (Сфарад – это Испания на иврите). Выходцев из стран Западной и Восточной Европы называют ашкеназами (ашкеназим, *ивр.* Ашкеназ – это древнееврейское название Германии). У «восточных» и «западных» евреев существуют различия в обычаях, традициях, а также в порядке молитв.

<sup>11</sup> Согласно религиозной традиции, ближайшие родственники покойного должны соблюдать траур: не стричь волос, сидеть в надорванной одежде, без обуви на полу или на низкой скамейке и т. п.

– Не надо быть такой серьезной...

– Потому что уже действует на нервы – ты делаешь из этого какую-то новую религию...

– Ну, ладно, неважно... неважно. Главное, что во вторник я собралась и поехала в Иерусалим, и хотя, когда я выехала в пять из Тель-Авива, небо было ясным, в Иерусалиме я вышла в полной тьме, и кругом был туман, и шел дождь, правда, мелкий, но каждая капля, как льдинка, и в темноте я ошиблась и сошла на остановку раньше – мне надо было в Эмек Рефаим, а я оказалась в Талбии, но мне даже понравилось, потому что я почувствовала себя как в каком-то европейском городе – широкая площадь, вокруг красивые каменные дома, выглядящие в свете фонарей так величественно и таинственно, с портиками, балконами, внутренними дворами, где растут кипарисы... Прямо загляденье...

– Точно. Откуда ты знаешь? Не только президент, мама, но и премьер-министр, и министр иностранных дел – все они живут там, возле этой самой площади, а я бы прошла и не знала, если бы не полицейский в будочке, к которому я обратилась, – попросила показать, куда мне идти, и заодно спросила, что он такое охраняет, и он показал мне резиденцию президента и даже позволил заглянуть внутрь через ворота, и у меня появилось чудесное чувство – я в самом сердце Иерусалима...

– Нет, я никогда там не была, ты ошибаешься... С того момента, как я помню себя, меня всегда привозили в Иерусалим с экскурсией из школы или из армии, всегда на какую-нибудь церемонию или семинар, всегда в музей или на раскопки, бегать по городской стене в хамсин<sup>12</sup> за гидом, который только действует на нервы, а если даже с ночевкой, то вечно на окраине, в молодежном общежитии. В общем, благодаря полицейскому, который охраняет президента, мне не пришлось возвращаться на автобусную остановку, он показал мне дорогу, которая выводит прямо к Эмек Рефаим – по пустырю за театром, а оттуда через рощицу прямо на улицу, где живет отец Эфи; только я вышла на нее с другого конца...

– Значит, не с начала, а там, где последние номера...

– Нет, ты не знаешь. Там, где кончается спуск, за лепрозорием, ты не знаешь, такая узкая длинная улица...

– Немецкий квартал?

– Не думаю, мама. Во всяком случае, на карте ясно написано: «Эмек Рефаим». Я помню, что еще в первый раз, когда я искала по карте адрес, который дали мне в деканате, то, прочитав название, подумала: только иерусалимцы могут жить в районе с таким страшным названием<sup>13</sup>, тельавивцы давно бы возмутились. А вокруг по-прежнему плыл туман, и поскольку я вышла на улицу не с того конца, то прошло еще добрых десять минут, пока я узнала дом, и когда я вошла в подъезд, то была насквозь мокрая и замерзшая, туфли все в грязи, а потому я решила забиться в уголок, чтобы хоть немножко прийти в себя, и тогда у меня вдруг появилось... Ты меня слушаешь, мама, слушаешь?

– Это странное чувство, которое не раз возвращалось в те дни, что я провела в Иерусалиме, как будто я, мама, не просто стою сама по себе... А словно... поместили меня на первую страницу книги...

– Книги... Романа какого-то или повести, если хочешь, фильма, главное, что на мне все время чей-то взгляд, или даже это я сама как бы смотрю на себя со стороны... Будто за мной следят, но не в реальной жизни, а как бы в книге... Будто я... будто рассказывают обо мне на первой странице... ну, скажем, какой-то старой книги, которая начинается так: «Однажды, в зимний день, ближе к вечеру, вышла студентка, выросшая без отца, из дому – а жила она

---

<sup>12</sup> Хамсин (букв., пятьдесят, *араб.*) – ветер-суховея из пустыни; считается, что хамсин бывает около пятидесяти дней в году.

<sup>13</sup> Эмек Рефаим (Долина Великанов, *ивр.*) – долина к югу от Иерусалима, упоминаемая в Библии (Иисус Навин, 15:8; 18:16). По преданию, великаны населяли страну Израиля (Эрец-Исраэль) во времена Аврахама (Бытие, 14:5; 15:20). В настоящее время Эмек Рефаим – название одного из южных кварталов Иерусалима.

у бабушки в большом городе – и отправилась по поручению друга сердечного своего в город столичный, чтобы узнать, что случилось с его отцом, который вдруг словно сквозь землю провалился». До сих пор все просто и ясно, но сейчас станет куда запутанней. «И вот мы видим, как промозглым зимним вечером она входит в подъезд жилого дома, не слишком роскошного, но приличного; через несколько секунд на лестнице гаснет свет, и камера, которая катилась за ней по пятам на улице, ищет теперь ее в темноте и находит перед глухой зеленой дверью, на которой написано одно слово: „МАНИ“». Так начинается эта книга или фильм – назови как хочешь, мама: осторожный стук в дверь, короткий звонок, еще звонок, звонок подлиннее, но тот, кто внутри, ни за что не хочет открывать, и все же юная девушка, героиня романа, заставит его в конце концов впустить ее и тем самым, мама, спасет его жизнь...

– Подожди, мама... Минутку...

– Минутку. Да, никакого ответа не было, мама, но именно потому, что уже в подъезде я почувствовала себя героиней романа, я почему-то была абсолютно уверена, что он прячется там, в квартире, и как раньше он не отвечал на телефонные звонки, так сейчас не откликается на звонки в дверь, а раз так, я решила не сдаваться – минут десять звонила и стучала на разные лады, потом сделала вид, что спускаюсь и ухожу, а сама на цыпочках в темноте вернулась и буквально прильнула к двери, прижалась ухом, затаив дыхание, как в детективных фильмах, и наконец услышала едва уловимый шорох шагов и почувствовала, что он подошел вплотную и тоже застыл и между нами только дверь. Тогда так тихонечко, чтобы не напугать его, таким елевым голосом я сказала: «Это я, господин Мани. Я приехала передать вам что-то важное от вашего сына Эфи». И тогда ему уже ничего не оставалось – только сдаться и открыть...

– Погоди... Слушай дальше...

– Что ты, мама? Он не старше тебя, может быть, даже немного моложе – где-то между сорока и пятидесятью, и если хочет, может выглядеть вполне ничего. Но в тот вечер, когда он открыл мне дверь, вид у него был ужасный – как у загнанного зверя, которого выкурили из глубокой норы: щетина, которую он не брил уже месяц, халат, кое-где в дырах, глаза красные, волосы взлохмачены, стоит передо мной в одних носках, а за спиной у него квартира, вся темная, но пышущая жаром, и он был так ошарашен – как это мне все-таки удалось заставить его открыть, что тут же с такой враждебностью заслонил собой дверь, и я поняла, что не стоит даже пытаться напоминать, кто я такая и что я приезжала несколько недель назад – он так погружен в себя, что история месячной давности для него, может быть, все равно что события, происшедшие сто или двести лет назад. Поэтому я вновь выпалила имя его сына и передала то, что он просил передать, торопясь сказать все, пока дверь не захлопнется. Он выслушал, но ничего не сказал, только рассеянно покачал головой и уже начал закрывать дверь, но в этот момент мне повезло – за его спиной, мама, зазвонил телефон, как будто часть меня осталась в Тель-Авиве и, помогая, продолжает упорно звонить. Он огляделся, пытаясь вначале не обращать внимания, в надежде, что ему удастся хотя бы избавиться от меня, прежде чем подходить к телефону, но, увидев, что я стою как вкопанная и не собираюсь двигаться с места, а телефон все не замолкает, он повернулся и пошел в гостиную. Тогда, мама, может быть, веря, что так надо по книге, в которую я попала, или полагаясь на режиссера и всю съемочную группу, которые следят за каждым моим движением и защитят от него, если понадобится, я решила не довольствоваться его кивками и без приглашения проскользнула вслед за ним, потому что была уверена – я обязана узнать, что тут происходит *на самом деле*...

– Я не сомневалась: что-то тут неладно, если он грудью преграждает мне путь, не пуская в квартиру, хотя я специально приехала из Тель-Авива и стою перед ним на лестнице вся промокшая и продрогшая.

– А, доброе утро... Наконец-то...

– Доброе утро, мамочка... Я так и знала, что ты не преминешь намекнуть на это. Тогда скажи прямо... Уже четверть часа я жду этой фразы...



– Да-да, ну говори. Правильно: «Опять наша Хагар ищет себе отца... Опять Хагар, как обычно, тянет к пожилому мужчине, в котором она видит отца». Я знаю эту песенку наизусть... Каждый раз, когда еще во время службы в армии я рассказывала тебе о каком-нибудь офицере уже в летах, который мне немножко нравился, тут же я видела эту печальную улыбку...

– Да, но это именно то, что ты хочешь сказать, черт возьми. Ну признайся, это точно соответствует затасканным, пребанальнейшим, до предела упрощенным параграфам «Психологии сирот», которую ты учила.

– Что, нет такой книги?

– Почему?

– Ничего, ее скоро напишут, вот увидишь...

– Нет, я уже знаю...

– погоди... послушай меня...

– Но ты именно это хочешь сказать, так скажи...

– Скажи... В чем дело?

– Я совсем не кипячусь...

– Потому что, на самом деле, все может быть совсем иначе. Попробуй, мама, хоть раз подойти к этому совсем с другой стороны. Может, не отца я ищу все время, как тебе кажется, а, предположим, совсем наоборот, скажем... ищу тебе мужа...

– Да, мужа, мужчину, который смог бы вытащить тебя из этой затхлости, что обступает тебя здесь со всех сторон, высасывает все соки, хоть ты и не чувствуешь. И даже твои прелюбезные, прелюбезные киббуцники... да, да, они тоже, при всем к тебе уважении... тоже уже немножко... я знаю?... устали, что ли, от тебя, и их волнует одно – как ты будешь стареть тут в Негеве одна-одинешенька у них на виду, а ты еще, как назло, хочешь работать только в поле, где встретить кого-то живого, человека, к которому ты привязалась бы, полюбила, практически невозможно. Ведь и я в конце концов, и я тоже в один прекрасный день уйду... Поэтому, может быть, не ради себя я порой, допустим, только допустим, тянусь немножко к кому-то, если вообще так можно сказать, а скорее ради...

– Да, кончила...

– Конечно, сосватать...

– Что тут смешного? Ничего удивительного. Давно пора, а ты все упрямишься...

– Что «одно и то же»?

– Что значит «одно и то же»?

– Может быть...

– Верно...

– Верно... Ну и что, что одно и то же? Может, результат и тот же, только причины разные...

– Нет, не включай еще свет... И так хорошо...

– Может быть. Ну и что? Но на этот раз в Иерусалиме меня ничто не тянуло к нему, мама, а ворвалась я туда по праву...

– По праву того, что уже запечатлено во мне, хоть ты и пытаешься убедить меня, что этого нет; по праву, которое дает мне малюсенький головастик, который барахтается где-то внутри меня и отщипывает клетку за клеткой, чтобы сотворить из них нового человека; по праву крови этого крошечного создания, и неважно – в его существование может не верить весь мир, но летом он выберется наружу и закричит так, что у всех зазвенит в ушах. Да, мама, теперь между мной и этим семейством протянулась нить, сплетенная самой природой, и не играет никакой роли, признает Эфи себя отцом или нет. Поэтому я не только имела право войти без приглашения, но и была обязана, это мой долг перед господином *Мани-самым-младшим*, который хочет познакомиться со своими родственниками, подышать немного их воздухом, ведь пока он, так сказать, недееспособен, его представляю я. Ты слушаешь меня, мама?

– И меня как молнией поразило – я должна войти потому, что... И не говори мне, мама, что это только моя фантазия, потому что я твердо знаю, и все во мне говорит и даже кричит: «Нет, это не фантазия, ни в коем случае. Никакая это не фантазия!» Я заранее тебе говорю: то, что ты хочешь сказать, неправда. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять со всей очевидностью... Тогда все стало ясно: и опасения Эфи, и его просьба, и то, сколько раз я пыталась дозвониться, и то, почему он не отвечал, и главное, почему он встретил меня в штывы и почему пытался вытолкать на улицу, на холод, в туман, несмотря на то, что я явилась «с миссией доброй воли». Потому что я, слушай внимательно, мама, просто-напросто помешала этому человеку, отцу Эфи, этому господину Мани наложить на себя руки...

– Нет, совсем не фантазия...

– Да, именно так... Слушай внимательно, потому что это истинная правда. Это случается не только в книгах, но и в жизни... Значит так, слушай внимательно: мой приезд в тот вечер в Иерусалим и моя настырность спасли ему жизнь, не дали покончить с собой. Да, просто так – взять и покончить с собой... Именно это он собирался сделать. Мне это было ясно как день тогда, и я уверена до сих пор... Все признаки говорили об этом, все так сходилось... Если бы я не приехала... Когда вспоминаю сейчас... Но... но...

– Нет...

– Хватит...

– Довольно...

– Нет, я вся дрожу и плачу, когда вспоминаю, плачу, потому что я знаю, что ты не способна поверить мне...

– Потому что не хочешь... Просто не хочешь... Тебя учили не верить...

– Дай мне...

– Нет...

– Хорошо...

– Все, все...

– Хорошо...

– Так вот, пока он стоял там в гостиной и держал трубку с такой неохотой и слушал кого-то, кого он совсем не хотел слышать, я переступила порог, и этот переход из холода в тепло будто втянул меня внутрь, но я не остановилась, где требовали, наверное, правила приличия, а прошла по коридору дальше и через открытую дверь увидела спальню их бабушки, которая померла. Там было темно, но в рассеянном свете, проникавшем сквозь маленькое окошко, все же можно было разглядеть, что там внутри, и это «что-то» привело меня в ужас... Даже сейчас страшно рассказывать...

– Потому что там было приготовлено нечто вроде виселицы...

– Да, виселицы...

– Что слышишь... Во-первых, в комнате был страшный беспорядок, я бы даже сказала – истерический беспорядок: кровать вся растерзана, как будто кто-то метался по ней как безумный: подушки разбросаны, простыни изодраны; на полу книги, стол завален бумагами, листы скомканы, а главное, мама, жалюзи на большом окне опущены и ремешок, который их поднимает, ну, такой, как здесь, только пошире и покрепче, висит свободно, а на конце его большая петля, как галстук, который затягивают на шее. Ты, конечно, улыбаешься...

– Нет, это еще не все, потому что под петлей стоял маленький табурет, ну такой, на который становятся, а потом отталкивают ногой. Все готово, все так очевидно, нет никаких сомнений. А если и были сомнения, то его поведение выдало все окончательно – в тот момент, когда он увидел, что я зашла в квартиру и приближаюсь к этой комнате, он страшно испугался, оборвал разговор, бросил трубку и кинулся мне наперерез, чтобы вернуть меня или по крайней мере закрыть дверь, чтобы я ничего не увидела, и по тому, как он перепугался, по его крайнему

замешательству и даже, пожалуй, смущению, мне стало ясно: он знает, что я все заметила и все поняла. Ты слышишь, мама?

– Нет. Да, я уже вошла в эту темную комнату и застыла, стояла как вкопанная, замороженная видом виселицы, а он схватил меня сзади и начал тянуть...

– Молча, молча... В том-то и дело – если бы он сказал что-нибудь, все выглядело бы по-другому... Тут уж я перепугалась, не только из-за того, в какую ярость он пришел, но и потому, что я чувствовала, что под халатом у него ничего нет, он голый, но в то же время я сознавала, что надо бороться, если я хочу спасти его, и потому я уперлась, стала отчаянно сопротивляться, даже пыталась ухватиться за ремешок жалюзи – чтобы держаться за что-то и чтобы сорвать его, но он выволок меня из комнаты и стал уже толкать к входной двери. Тут я поняла: надо на что-то усестся или даже улечься, чтобы удобнее упираться, потому что иначе я через минуту окажусь за дверью, за пределами этой квартиры и всей этой истории, и тут же немедленно я сделала вид, только сделала вид, будто падаю в обморок, он испугался, на мгновение ослабил хватку, и я недолго думая плюхнулась в кресло, что стояло в дверях гостиной, и все это молча, без слов – ни он, ни я не произнесли ни звука, так сильно мы были потрясены этой борьбой, такой неожиданной и внезапной, и только сейчас, когда он увидел, что я вся подобралась и застыла, он вдруг сдался, отпустил меня и ушел в ту самую спальню, закрыв за собой дверь.

– Да, вот и все.

– Правильно, он думал, что я сама уберусь восвояси...

– Я же не двинулась с места, мама...

– Так и сидела...

– Трудно сказать, я на часы не смотрела...

– Пару часов...

– Да, да, пару часов...

– Ничего смешного, мама...

– Я прекрасно знаю, о чем ты думаешь...

– Ну, говори, я слушаю...

– Да.

– Конечно, каждое слово...

– Понимаю и очень даже хорошо...

– Это ты так считаешь, а я думаю совсем иначе...

– Я же сказала тебе...

– Потому что я знала – сам факт моего присутствия в уголке гостиной может спасти его от того страшного дела, которое он задумал, хотя теоретически ничто не мешало ему повеситься себе там за запертой дверью – чем я могла ему помешать, – и меня бы еще заподозрили в убийстве...

– Подожди... Я знаю, что ты не веришь...

– Сейчас услышишь... Никакая не фантазия...

– Не двинулась с места, разомлев от жара этой квартиры, в которую, по-видимому, уже несколько дней не проникало ни капли свежего воздуха, а телефонная трубка все лежала на столике рядом со статуэткой лошади и вереницей маленьких глиняных декоративных сосудов. Глядя на это, я поняла, почему телефон был так часто будто бы занят – трубка лежала тут часами рядом с лошадкой, скорее похожей на мула...

– Нет, мама, на том же месте, как прикованная...

– Не знаю... Будто окаменела, будто утратила все жизненные силы... Будто писатель, что пишет обо мне книгу, или режиссер, что снимает обо мне фильм, отложили перо или камеру и пошли по своим делам, либо поужинать, либо просто пройтись по холодку, чтобы родить свеженькую идейку и решить, за какие ниточки меня дергать...

– Что ты хочешь?

– Что значит «ненормальная»?

– Ты что – серьезно?

– Нет, просто ждала...

– Я знаю? Ждала, что он выйдет, потому что знала: его нельзя оставлять одного, просто низко и подло встать сейчас и уйти...

– Да, низко и подло...

– Конечно, мама. Так я и сидела, ни к чему не притрагиваясь, даже телефонную трубку не положила на место. Сначала она тихо попискивала, потом совсем замолкла. Дверь квартиры была по-прежнему приоткрыта, время от времени доносились голоса людей, поднимавшихся и спускавшихся по лестнице, в подъезде зажигался и гас свет. Но в конце концов стало совсем тихо, и я даже слышала звуки из других квартир, новости по радио или по телевизору... а главное – шум ветра, который все бушевал на улице.

– Нет, так и не двигалась... Как будто дала обет неподвижности, будто только он дает мне право находиться в чужом доме, в который я ворвалась. Я буквально держала себя за руки, еще и потому, что не хотела оставлять там ни малейших отпечатков пальцев. Если он все же повесится, чтобы не впутывали меня потом, не приставали, не обвиняли...

– Мало ли что? Найдут, в чем обвинить, например, что не помешала или даже содействовала...

– Не знаю, не знаю, не знаю... Что за допрос? Тебе, мама, обязательно надо копаться в моей душе? Я знаю одно – я все сидела и сидела в кресле в углу гостиной, даже когда стало посасывать под ложечкой, ведь на самом деле я с утра ничего не ела и не пила, и хоть стояла там в сторонке вазочка с конфетами, я даже руки не протянула; даже свитер не сняла, хоть и чувствовала – внутри так все и пышет жаром; сидела и смотрела на темный экран телевизора, стоявшего напротив, водила глазами по строчкам раскрытой книги, лежавшей наискосок, не решаясь даже ее поправить, – что-то о старых кварталах Иерусалима. Время шло, во всем доме стало тихо, я чувствовала, словно чья-то невидимая рука начинает спеленывать меня, как мумию, и я впала в дрему, как будто в этом кресле мне суждено оставаться до конца своих дней. Я готова была даже смириться с мыслью, что господин Мани качается там себе на ремешке жалюзи; окаменев, я ждала пока вернутся автор и режиссер. И вот, где-то уже к полуночи, когда я была совсем, как в тумане, я увидела, что он выходит из комнаты, только выглядел он теперь совсем по-другому – снял рваный халат, оделся нормально: брюки, свитер, причесался, теперь уже он был ничем не похож на загнанного больного дикого зверя, что мастерит себе виселицу; в общем, было видно – человек пришел в себя, взял себя в руки. Увидев меня, он не выразил ни удивления, ни раздражения, улыбнулся немного смущенно, первым делом прикрыл входную дверь, положил на место телефонную трубку и после этого приветливо обратился ко мне: как меня величать и что мне угодно...

– Наверное, тогда он даже не слушал...

– Нет, мама, подожди, подожди. И все-таки это не моя фантазия...

– Подожди, куда ты спешишь?

– Нет, не каждую мелочь... Хотя и мелочи бывают очень важны...

– Ну подожди, ради бога, не торопи меня, мама...

– Просто сказала...

– Нет, об остальных днях можно и покороче...

– Нет, ни слова о том, что было, словно мы и пальцем друг друга не тронули... Ну, я, разумеется, еще раз повторила ему слово в слово, что просил передать Эфи. На этот раз он все понял, но, кажется, не очень-то огорчился, что Эфи не отпустили и он не сможет пойти на кладбище. Потом он стал расспрашивать меня об Эфи, будто я должна знать о его сыне больше, чем он сам, и я рассказала, что у Эфи в Ливане сломались очки, это как раз его встревожило, и он сказал, что, может, найдет какую-нибудь подходящую пару, и так естественно, как ни в

чем не бывало, пригласил меня в ту самую комнату, из которой он так недавно в припадке ярости меня выволакивал. Только сейчас комната была прибрана и выглядела пономральнее – кровать застелена, простыни сложены, бумаги собраны в стопку и, главное, жалюзи были сейчас подняты, ремешка с петлей на конце как не бывало, он на своем месте, натянут, как ему и положено, и через окно видны деревья, которые треплет и гнет невидимый ветер. Он покопался в ящиках и нашел три пары очков, но не был уверен – Эфи ли это очки или кого-то другого. Даже спросил меня, может, я подскажу, какие из них Эфи; в конце концов он сложил все три пары в полотняный мешочек и сказал: «Возьмите, пошлите ему в Ливан, может, они ему пригодятся, хотя бы до отпуска». Мне вдруг показалось, что теперь он совсем не торопится отвязаться от меня, в этот момент он посмотрел на меня внимательно и спросил: «Откуда я вас знаю? Мне кажется, я вас видел, но не помню где». Я улыбнулась и напредила, что была здесь всего месяц назад, сразу после смерти его матери, но он не удовлетворился этим ответом, тем более, что тот мой приход он, кажется, так и не вспомнил. Он почему-то был уверен, что знал меня раньше, и хотел во что бы то ни стало вспомнить откуда. Посыпались вопросы: не жила ли я когда-нибудь в Иерусалиме, из какой я семьи, про тебя, мама, про отца, кто мои родители, откуда они приехали, не было ли все же у меня родственников иерусалимцев. Эти дотошные расспросы выглядели очень странно в полночь, как будто время остановилось. Я пыталась отвечать, но поскольку о нашей семейной истории я знаю немного и к тому же была очень усталой, то в конце концов, правда, в самом конце, я все-таки рассказала... ну, в общем... что поделаешь?..

– Да, именно – что наш отец погиб на войне...

– Я так и знала, что ты это скажешь. Но в этот раз я, честное слово, не хотела об этом говорить. Я себе давно поклялась не выкладывать это каждому встречному...

– Легко сказать... легко сказать...

– Конечно, ты все знаешь заранее...

– Нет...

– Нет, но это действительно выводит из себя. Ты так уверена, что всегда знаешь заранее, что я скажу и что сделаю. Но подожди, будет сегодня и для тебя сюрприз...

– Подожди... Немного терпения...

– Да, настоящий сюрприз...

– Дальше? А дальше, как всегда, мама, все жалеют меня...

– Ничего подобного! Может, когда-то, но уже очень давно это не доставляет мне никакого удовольствия, мне даже становится не по себе, когда все тут же пытаются взять меня под опеку. И он тоже, очень мягко, но уже с чувством ответственности за меня стал спрашивать: как я поеду в такой час и в такую погоду, тем более, что он был уверен – вот-вот обязательно пойдет снег, и потому он, он сам предложил мне остаться, а утром он уж отвезет меня на автовокзал или посадит на поезд. Я знала, что он прав, но согласилась не сразу, чтобы он убедил не только меня, но и себя. Он решил отвести меня в ту самую комнату, на пороге которой, как одержимый, боролся со мной, как бы доказывая, что петли, которой сейчас уже не было, никогда и не существовало, и прежде, чем я что-то решила, он уже быстренько постелил мне бабушкину кровать...

– Нет, у Эфи нет своей комнаты в этой квартире... Конечно, комната покойной бабушки, это видно с первого взгляда...

– По чему хочешь, по всему – по мебели, по картинкам на стенах, по старой дурацкой кукле в одежде турецкой танцовщицы в шароварах с блестками и в феске, по платьям и халатам, до сих пор висящим в гардеробе; даже простыни, что он постелил, были льняными и пожелтевшими от многократных стирок; а из ящика он достал мне ночную рубашку, тоже доисторическую – из толстой байки, всю в красных цветах, и видно, что это ручная вышивка, потому что каждый цветок немного отличается от другого. И в какую-то секунду, мама, у меня

по спине пробежали мурашки – не из-за бабушки и ее ночной рубашки, а потому, что мне показалось: он даже рад приютить меня на ночь, поскольку теперь кто-то еще раз наденет эту рубашку...

– Ты что, с ума сошла?

– Ты что? Что за мысли, мама? Только когда я легла и укрылась до подбородка, только тогда он вошел опустить жалюзи. Он спросил, подходит ли мне ночная рубашка, и было видно, что ему приятно смотреть на меня и он очень доволен. Потом он, едва потянув за ремень, одной рукой опустил жалюзи, тоже, наверное, чтоб показать, что никакой петли не было, а были просто испорченные жалюзи...

– Нет, не фантазия...

– Потому что я видела...

– Потому что я видела и поняла...

– Ну подожди, почему ты такая нетерпеливая?

– Что такое? У нас впереди целый вечер...

– Ты же сказала, что не пойдешь на ваш новогодний бал...

– Так чего ты так нервничаешь?

– От моего рассказа?

– А даже если так, то что?

– Да, мама, мне это совсем не мешало. Если Эфи мог с такой легкостью лечь в кровать нашей бабушки, почему бы мне не спать на кровати бабушки Эфи?..

– Как это может быть? Даже если и так? С тех пор прошел уже месяц, и, вообще, о чем речь? Ведь смерть не заразная болезнь и не оставляет грязи, как жизнь... Такое впечатление, что это ты, мама, веришь в мистику, в духов...

– Нисколько, все было совершенно естественно. Ты же знаешь, что меня всегда тянуло забраться в постель взрослых, может, из-за ужасных воспоминаний об общей комнате в интернате, где я ночевала с другими детьми... Поэтому я прекрасно устроилась в этой мягкой кровати и даже быстро уснула, совсем легко, несмотря на то, что он все еще не мог утомиться и все ходил по квартире, а на улице вовсю завывал ветер, который дул все сильнее и сильнее. Однако через час или два я проснулась, мама, не только с дурной головой, но и с чувством страшного голода, такого неукротимого, словно он там внутри начал уже обглаживать стенки желудка. Пришлось встать и отправиться на поиски пищи – я прошла на ощупь по коридору, как в темном вагоне, прошмыгнула мимо закрытой двери его комнаты, добралась до кухни, но света не включила и даже не открыла холодильник, а нашла буханку хлеба, отрезала себе ломоть, полила подсолнечным маслом, посыпала солью и какими-то специями, которые попались под руку, и так кусок за куском, с волчьим аппетитом умяла едва ли не полбуханки, а когда, наевшись, я возвращалась по коридору, то увидела, что дверь его комнаты приоткрыта и он как будто поджидает меня, я на секунду остановилась, и тогда, мама, я услышала, что он окликнул меня по имени, словно спросонья, как будто я давно уже член семейства, и спрашивает, пошел ли уже снег, но тут меня вдруг охватил такой страх...

– Сама не знаю... Я ничего не ответила и юркнула в кровать, и долго ворочалась с боку на бок, прежде чем мне удалось опять уснуть, а утром в половине восьмого, когда он зашел разбудить меня, он уже очень торопился и выглядел rispetабельно – черный пиджак и черный галстук, потому что он действительно судья и заседает в мировом суде, я это видела...

– Сейчас, сейчас, все по порядку...

– Не торопи меня, мама. Так вот, когда он разбудил меня, впустив в комнату свет и дотронувшись до моего плеча, первое, что он сказал, было: «Я извиняюсь. По моей вине вы легли спать на голодный желудок. Я забыл накормить вас...»

– Про это? Ни слова, мама... Пока ни слова...

– Я не хотела, чтобы он перестал мне доверять, чтобы, не приведи Господь, не подумал, будто я приехала в Иерусалим не по просьбе Эфи, а с тайным намерением что-нибудь с него содрать...

– Я знаю? Какие-то обязательства на будущее... или деньги...

– Откуда я знаю, что могло прийти ему в голову? Может, на врачей... может, наоборот, на аборт... Поэтому я изо всех сил старалась, чтобы, не дай бог, не проговориться и все время твердила себе: держи язык за зубами, и даже, когда он стоял передо мной, чинный и благопристойный, и делал мне бутерброд – намазывал белый козий сыр на черный хлеб, – и смотрел в окно: не превратились ли капли дождя в снежинки, я ни на минуту не забывала, что это тот самый человек, который пытался истребить самого себя...

– Нет, только так, слегка намекнула... Чтобы все-таки был со мной поосторожнее... И я, как будто без всякой задней мысли, а на самом деле нарочно, спросила: «Я вижу, вы починили ремень и эту петлю, что оборвалась?» – потому что хотела быть уверенной, что он знает: я не только видела, но и поняла все...

– Нет, он никак не отреагировал... Только молча кивнул... А потом ухмыльнулся, – видно, каким-то своим мыслям – и стал торопить меня, и вдруг, мама, я поняла, почему он такой обходительный и заботливый: он хочет, чтобы я поскорее смылась из Иерусалима, чтобы не крутилась у него под ногами и не шпионила; по той же причине он, наверное, придумал срочное дело возле самого автовокзала – чтобы «собственноручно» доставить меня туда, прямо к автобусу, и в первый момент я тоже решила: хватит, и вправду пора возвращаться в Тель-Авив, и так сколько занятий я пропустила из-за этой дурацкой истории, но по дороге, в машине, когда мы еле-еле ползли под дождем, то и дело застревая в страшных пробках, а в машине стояло гробовое молчание, я стала искоса присматриваться к нему. И что я увидела? Престарелый господин восточного типа, очень подавленный и, наверное, одинокий, с дыханием, пахнущим старым вином... И я вдруг подумала, мама: а ведь это единственный дед, который будет у той генетической формулы, что пока запечатана где-то в пузырьке внутри меня, почему же тогда не познакомиться с ним поближе? Я решила: надо узнать о нем побольше и стала задавать наводящие вопросы, даже вспомнила о той книге про Иерусалим, что лежала наискосок рядом с фигуркой лошади, и он сразу оживился и начал расхваливать эту книгу, а потом стал рассказывать о том месте, куда мы едем, о районе Керем Авраам – там он сдает жильцам старый дом, оставшийся ему в наследство от прадеда со стороны отца; тот был известным гинекологом в Иерусалиме лет девяносто назад, и в этом доме, как рассказывают, у него была как бы клиника или родильный дом, и все иерусалимские аристократки, еврейки и арабки, приходили туда рожать; и когда он выпалил все это на едином дыхании, словно его вдруг прорвало, я почувствовала, как у меня горят щеки, и хоть в этот момент мы в очередной раз застряли в ужасной пробке неподалеку от Дворца нации и вокруг все было серым, а по стеклам текли потоки нескончаемого дождя, у меня появилось чувство, что со мной происходит чудо, что эта встреча не случайна, как не случайно и то, что он едет сейчас туда, где сто лет назад рожали женщины, и то, что я вместе с ним в машине. Поэтому естественно, что меня потянуло туда, посмотреть, как выглядит это место, и я попросила его взять меня с собой. Он несколько удивился, и даже смутился, и сказал, что сейчас там не на что смотреть, дом как дом, поделенный на небольшие квартирки, а он едет туда продлить договор с квартирантами, потому что эти деньги он откладывает Эфи на учебу. Но я заупрямилась и стала буквально умолять его: ну, если не дом, то хотя бы район – ведь его стоит посмотреть, а он опять стал убеждать меня, что смотреть там нечего, этот квартал превратился в один из обычных религиозных районов, где все ходят в черном, но я не отставала, мне это стало вдруг так важно, мама, и ему ничего не оставалось – не мог же он просто выбросить меня из машины. Поэтому он не остановился на автовокзале, а поехал дальше, и вот уже мы в этом квартале с узкими улочками, и вокруг действительно полно евреев в черном, но жизнь бьет ключом, и все выглядит таким колорит-

ным. Мы остановились возле старого каменного дома, только совсем не такого уж маленького – двухэтажного, с красной черепичной крышей, и он вдруг очень смутился и сказал: это здесь – смотреть не на что, а потом осторожно попросил подождать на улице, не идти с ним, потому что там живут очень религиозные люди, и они не поймут, кто я такая и кем ему прихожусь... Мне стало смешно, мама, как будто он сам знает уже, кто я такая, но подождать согласилась. Он сказал, что это может затянуться, и если мне надоест, то отсюда можно доехать автобусом до автовокзала, и опять стал пугать, что вот-вот пойдет снег и тогда я не выберусь из Иерусалима. Он пожал мне руку и попросил прощения за беспокойство из-за телефона, который не работал, и исчез за большой железной дверью этого дома. Я стала понемногу осматриваться, представляя, как это выглядело сто лет назад, – наверное, вокруг была пустошь, как у нас, и я опять подумала о ребенке – когда он родится, этот старый дом будет принадлежать и ему, а через него, стало быть, немножко и мне, ведь в киббуце ни один дом мы не можем назвать по-настоящему своим, а здесь вдруг целый домина с красной крышей. Мимо меня то и дело строго по прямой проходили мужчины в черном, в широкополых шляпах, на которые были надеты прозрачные полиэтиленовые чехлы. Они, как ружья, держали в руках черные закрытые зонтики. Капли дождя стали вдруг клейкими и тяжелыми, какими-то липучими, но я понимала, что это еще не снег, хотя ни разу в жизни его не видела. Тогда я вошла в этот дом – подъезд был узким и темным, к перилам на цепочках были прикреплены детские коляски, на стенке – несколько почтовых ящиков, дверки их обломаны. Я поднялась вверх, на второй этаж и попала в коридор; сразу было видно, что здесь когда-то был балкон, но дом десятки раз перекраивали, разрушали и отстраивали заново, изменив в конце концов до неузнаваемости. Я переходила от двери к двери, не понимая, что за ними – квартиры или кладовые, и мне пришла в голову странная мысль: может, мой господин Мани просто спрятался в одной из комнат, чтобы ему никто не мешал довершить начатое. В конце коридора был черный ход, и по ступенькам я спустилась во внутренний дворик, мощенный каменными плитами; здесь тоже были бесчисленные пристройки; а на узкой полоске, оставшейся незастроенной, какая-то добрая душа, привязанная к земле, пыталась что-то вырастить. И это так трогательно, мама, видеть, как эти горожане выращивают перец и помидоры в старых корытах и огромных ночных горшках. К этому времени я уже чувствовала, что за мною следят десятки глаз, со всех сторон открывались окна, высывались головы; в конце концов во двор вышла молодая беременная женщина и деликатно попыталась узнать, кого я, собственно, здесь ищу, а когда я сказала, что жду владельца дома, она сразу встревожилась, решив, что я собираюсь снимать тут квартиру, и стала объяснять, что я ошиблась, квартир свободных здесь нет, и было видно, мама, она не допускает мысли о том, чтобы такая как я сняла тут квартиру. Я возмутилась и назло ей сказала: нет сейчас, может, будет потом; но она стояла на своем: нет и не будет, желающих много, целая очередь, и никто из жильцов не собирается съезжать, и я вдруг поняла, что мое присутствие здесь ей по-настоящему в тягость, и она делает знаки соседкам, чтобы они тоже вышли и убедили меня, что свободных квартир тут не будет никогда, и мне вдруг все это осточертело, и я сказала, что жду господина Мани, я с ним приехала, а они ответили: но господин судья уже ушел. Я выскочила на улицу и убедилась, что его машины действительно нет. Это значит, по крайней мере, что он не повесился, а просто сбежал от меня, подумала я, и тут, мама, сама не знаю почему, я бросилась за ним вдогонку...

– На Русское подворье, где суд...

– Ты опять?

– Я слышу... Неужели ты не можешь придумать что-нибудь пооригинальней...

– Ну хорошо, допустим, ты права, и я на самом деле все еще ищу «фигуру отца», как вдалбливали тебе на курсах, где приучают хвататься за первое, самое легкое и тривиальное объяснение, из которого следует, что наше подсознание еще совсем маленькое, простенькое и глупое и позволяет сразу вскрыть его непристойные мотивы, чтобы на месте их заклеить.



Что с того? Почему именно в нем, в господине Мани? Ведь я могу, если захочу, найти «фигуру отца» тысячу раз на дню, эти пожилые мужчины стоят рядами с утра до вечера и только ждут случая, причем, честное слово, мама, они даже не стремятся с тобой переспать, а некоторые вообще уже и не могут, достаточно поцелуйчиков, только дай им возможность проявить тепло и заботу, взять под свою опеку. Так зачем же мне надо было ехать для этого в Иерусалим и почему именно господин Мани в расстроенных чувствах? Что в нем такого, чего не даст мне другой? Нет, мама, я искренне сожалею, но тебе придется подыскать другое объяснение...

– Потрясающе! Теперь *ты* говоришь об *этом*! И в то же время утверждаешь, что это только моя фантазия...

– Какое это имеет отношение к нашему отцу? Что-то я не понимаю...

– Ничего не понимаю...

– Не понимаю...

– Хорошо, только потом, потом, потом... Я умоляю, дай мне еще несколько минут, прежде чем обрушивать на меня свои теории...

– Окей...

– Окей, только потом, мы еще поговорим об этом... хоть целый вечер, хоть целую ночь, сколько захочешь, но сначала дай мне дорассказать всю историю до конца, потому что я, мама, ведь все еще там, в районе Керем Авраам...

– Правильно, совершенно верно...

– Да, если идти от военной базы «Шнеллер», на месте которой знаешь, что было раньше?

– Нет, еще раньше...

– Нет, немецкий сиротский приют...

– Правильно, левее, левее, и вот оттуда в то утро вместо того, чтобы сесть на автобус, доехать до автовокзала, поскорее добраться до Тель-Авива и бежать в университет, я поехала в обратную сторону, выбрала противоположное направление...

– Противоположное тому, что я должна была делать; вместо Тель-Авива, университета, экзаменов – Иерусалим, холод и дождь, Русское подворье, старые здания разных судов, длинные темные коридоры, по которым взад-вперед расхаживают люди в черных мантиях, – между прочим, очень милые и приветливые, они и помогли мне отыскать его, этого господина Мани, который уже успел обосноваться в своем зале суда, таком малюсеньком, что вначале мне это даже показалось смешным, потому что я никогда не представляла себе, что бывают такие маленькие залы суда, ну, не больше этой комнаты, три-четыре скамьи, а перед ними, как на пьедестале, высоком и черном, восседает он, спиной к большому окну в форме арки с глубокой каменной нишей, запахнут в черную мантию и вершит правосудие. Увидев, как я вхожу, тихонечко, наклонив голову, сдвигаю мокрые пальто и сажусь на последней скамье за адвокатами и подсудимыми, он сбился, покраснел, снял свои маленькие очки для чтения и встревоженно огляделся – заметили ли другие, кто вошел, но быстро пришел в себя и потом все утро не обращал на меня никакого внимания, разбирал дело за делом, строго, но с юмором, которого я в нем и не подозревала, особенно когда выговаривал адвокатам, и только когда слово предоставлялось самому подсудимому, он вел себя сдержанней, слушал, закрыв глаза и непрерывно пощипывая бородку, которая отросла у него за время траура и к которой он, по-видимому, все никак не мог привыкнуть...

– Да, так и сидела там до полудня, часа три-четыре...

– Почему? Может быть, даже очень интересно, мама, все время чувствуешь напряжение: вот подсудимый встает, называет имя-фамилию, вот прокурор оглашает, в чем его обвиняют, вот подсудимый отвечает, признает ли себя виновным, но бывает и просто какое-то крючкотворство, адвокаты цепляются за всякие мелочи, входят в такие тонкости, которых нормальному человеку не понять, они то и дело поднимаются к судье, передают какие-то документы, и так продолжается до тех пор, пока судья не выходит из себя и не уводит их в свою комнату –

дверь в нее прямо из зала, и случилось, мама, что я оказывалась одна в этом маленьком зале, а раз я осталась один на один с подсудимым-арабом, которого судили за то, что он воровал удостоверения личности у евреев, и он вдруг повернулся ко мне и попытался заговорить...

– Не знаю, что держало меня там... Но опять, мама, я чувствовала, будто я погружаюсь во что-то и не в состоянии двинуться. Правду сказать, и погода была по-прежнему препаскуднейшей, из окна было видно, что дождь не только не прекращается, но и усиливается, небо совсем затянуло низкими тучами; да и в зале, надо сказать, никто не обращал на меня внимания, никому в голову не приходило, что я тут наблюдаю за судьей, который выглядел к тому же весьма бодрым и энергичным, без всяких намеков на манию самоубийства. В конце концов я стала подумывать, как и ты сейчас, что все происходившее вчера ночью в его квартире, это на самом деле иллюзия, плод моей разгоряченной фантазии...

– Погоди... погоди...

– Нет, он и вида не подал... даже ни разу не взглянул в мою сторону, как будто никогда не видал меня раньше, и так продолжалось до полудня, он все сидел на одном и том же месте, как камень. Когда он в очередной раз удалился с адвокатами и его очень долго не было, и даже последнему подсудимому надоело и он куда-то исчез, и я осталась теперь уж совсем одна в этом маленьком зале, а дождь за окном превратился в град и ледяной крупой барабанил по стеклам, я вдруг подумала: какого черта, Хагар, почему ты торчишь тут, когда жизнь в Тель-Авиве, в университете бьет ключом? Но в этот момент, мама, начали звонить колокола русской церкви, что по соседству, комната наполнилась их тяжелым гулом, в воздухе повеяло чем-то стародавним и торжественным, и у меня, мама, опять появилось это странное чувство... как тогда в подъезде...

– Да, именно... будто кто-то все время смотрит со стороны, пишет обо мне или снимает меня...

– И нечего улыбаться...

– Почему мания величия? Ничего подобного, наоборот, я ведь все время веду к тому, что это касается не только меня, но и других, и потому я не имею права раньше времени уходить со своими личными интересами, а должна запастись терпением, чтобы в конце концов все: и Эфи, и младенец смогли понять, что к чему, разобраться в чем-то важном...

– Подожди... подожди... какая ты сегодня нетерпеливая!

– Нет, волноваться нечего, ничего не случилось... Только когда я встала и заглянула в его комнату, узнать, что с ним, то там было абсолютно тихо, все аккуратно разложено по местам, а его пальто и портфеля уже не было, то есть мой господин Мани опять сбежал от меня. Но я, мама, и на этот раз не опустила рук, а бросилась разыскивать его по темным коридорам, опять ходила, останавливала людей в черных мантиях, спрашивала и все-таки нашла его – у самого выхода, уже в пальто, мантия сложена и перекинута через руку, стоит и, как ни в чем не бывало, непринужденно беседует с молодым юристом, который выступал обвинителем на одном из процессов, посматривает на улицу, ожидая, как видно, когда кончится град. И тут я вдруг смутилась, но он сам заметил меня, подозвал, взял за руку, обратился по имени, так тепло и по-дружески, засыпал вопросами: «Ну как? Вам было интересно? Какие впечатления?

Понравилось?» – и даже представил меня своему собеседнику: «Знакомьтесь, это подруга моего сына Эфраима», – и я, мама, не знаю, что со мной случилось, – у меня на глазах выступили слезы... Может, потому, что он назвал меня по имени, может, потому, что был так добр и мил... И мне так захотелось прислониться к нему, опереться, потереться о его толстое ворсистое пальто, и если был момент, мама, один момент за все дни, когда я очень хотела... думала, что он может... ну, в общем... может быть, хоть на какое-то время...

– Как бы это сказать... притупить то глубокое чувство зияющей пропасти, которое я вечно ношу в себе...

– Да, в общем-то да – как отец... Но только на одну минуту, честное слово...

– Нет, мама, это как раз и сбивало с толку, потому что и он, казалось, все время подавал тайные сигналы бедствия, будто хотел сказать украдкой от всех: «Да, ты права – то, что ты видела вчера, не обман зрения, а весьма реальная возможность, не оставляй меня одного», – но внешне он вел себя как раз наоборот, так, словно хотел все время отделаться от меня, и сейчас он сам предложил подвезти меня на автовокзал; он раскрыл зонтик и держал надо мной, пока мы дошли до машины, и, забежав вперед, галантно открыл мне дверь, ухаживая за мной, как за дамой, а по дороге, как будто в виде компенсации за то, что сейчас так поспешно увезет меня из Иерусалима, остановил машину в одном из переулков у базара и завел меня в ресторанчик, такой простой и дешевый, где едят торговцы, называется «Рахмо», и накормил меня хумусом<sup>14</sup>, приготовленным по-особому, по-иерусалимски – с мелко нарезанными крутыми яйцами, и был по-прежнему мил и заботлив, хотя иногда как будто бы погасал, будто в нем выключали свет, и он на какое-то время уходил под воду, но потом опять зажигался и опять принимался расспрашивать про Эфи, как будто я должна знать о его сыне больше, чем он сам, и был момент среди этого шума и гама и дождя за окном, когда я чуть не рассказала ему, чем чреват будет для него через несколько месяцев этот маленький живот, где переваривается сейчас его хваленый хумус, но я сдержалась и не сказала ни слова. Когда мы вышли из ресторана, он довез меня до самого автовокзала, но не ограничился этим, а вышел со мной, купил мне билет, довез меня как маленькую и умственно отсталую девочку до места посадки, поставил в очередь, но и тогда не ушел, а дождался, пока я сяду в автобус и даже пока автобус тронется, и мне было приятно, что за мной так ухаживают, так заботятся, и я могу как бы отдаться в его руки, уступить, потому что на самом деле я уже и сама хотела вернуться домой, перестать носиться за ним под дождем, но в то же время было немножко обидно смотреть, как планомерно, пускаясь на разные хитрости, он добивается своей цели – удостовериться, что я наконец убралась из Иерусалима, будто я какая-то чокнутая, которая неизвестно зачем вторглась на его территорию... а не человек, который приехал к нему с поручением, желая сделать доброе дело...

– Погоди...

– Нет, минутку... Ну погоди, мама...

– Да, именно, позавчера, в среду, когда уже начало смеркаться, я уезжала из Иерусалима...

– Да, села в автобус, мы тронулись, а за окном была настоящая буря, и все вокруг говорили: в конце концов обязательно будет снег, к этому идет; и я думала: все, кончено, да и какая разница, может, это и правда мои фантазии да и только, пора возвращаться домой, ведь все равно не могу же я ходить за ним по пятам всю жизнь. Автобус взял разгон на длинном спуске сразу после выезда из Иерусалима, а вокруг был сплошной потоп и туман, а когда автобус стал подниматься, мы въехали в самую середину облака и не стало видно ни зги, а на спуске – что я вижу? – автобус вместо того, чтобы ехать дальше по главному шоссе на Тель-Авив, вдруг сворачивает. Оказалось, что, горя желанием избавиться от меня, уважаемый господин Мани по ошибке усадил меня не в экспресс, а в обычный автобус, и теперь мы начали петлять по проселочным дорогам, заезжая в Кирьят-Анавим, Маале-ха-Хамиша, Абу-Гош, а вокруг лило, было много воды и много зелени, иногда из тумана, едва не высаживая окно, вдруг выступала скала, нависшая над дорогой, дождь со льдинками хлестал не переставая, и я думала: если здесь, в низине такое творится, значит, в Иерусалиме наверняка снег, которого господин Мани так опасался, но, наверное, и очень ждал, чтобы запереться в своей квартире, протопить ее как следует, погасить во всех комнатах свет, раздеться догола и опять сделать петлю, пододвинуть табурет...

– Да, мама, я так и не смогла избавиться от этой мысли, она вдруг стала донимать меня, когда мы колесили в окрестностях Иерусалима. И вот автобус выехал наконец из последнего

<sup>14</sup> Хумус – турецкий горох, блюда из которого чрезвычайно популярны на Востоке.

поселения, вернулся на главную дорогу, которая вилась меж лесистых холмов, и стал набирать скорость. Я знала, что через несколько минут он выйдет на равнину и тогда уж понесется во всю прыть; и тут, мама, разыграли во мне чувства, как бы дух противоречия, я встала...

– Да-да, противоречия: почему это вдруг меня ни с того, ни с сего выпроваживают из Иерусалима. Я поднялась, и меня по проходу понесло к водителю. «Я очень извиняюсь, – сказала я ему, – но вам придется, если можно, остановиться. Я беременна, а вы едете быстро, и это вредно ребенку...»

– Да, ребенку. Сама не знаю, чего это вдруг я его сюда приплела...

– Да, а что такого?

– Что я такого сказала?

– Нет, он как раз был очень любезен, сразу замедлил ход и предложил мне пересесть вперед – там меньше трясет, но когда он увидел, что я ни в какую, то немедленно согласился и остановил автобус недалеко от бензоколонки, открыл двери и сказал: «Осторожно, не поскользнитесь». Как только автобус растворился в тумане, а вокруг ни звука, кроме шума дождя, я, мама, ни минуты не колеблясь, перешла на другую сторону, опять в направлении противоположном, и когда я дошла до развалин, ну знаешь, этих, что там внизу, в Шаарха-Гай...

– Да, там, где, как нам рассказывали, был когда-то постоялый двор, и все, кто ехал в Иерусалим, тут останавливались, чтобы дать отдых лошадям. Здесь была уже совсем какая-то другая тишина, и я почувствовала, что меня уже ждут... Ну эти... автор или режиссер с большой черной камерой... Как будто мне была назначена встреча, и я о ней совсем позабыла, а они сидят и ждут, там, наверху, на каменных террасах, среди деревьев, обхватив головы руками, как ты сейчас. И не смотри на меня так, мама, уверяю тебя, я вполне в своем уме... Ш-ш... кто-то стучит. Сиди тихо...

– Сиди тихо... Кто это может быть?

– Неважно, неважно. Так ты один раз не откроешь. Что случится?

– Нет, не вставай.

– Ты хочешь, чтоб я тебе больше ничего не рассказывала?

– Что такого?

– Нет... Нет... успокойся. Я просто все время пытаюсь передать то странное чувство, которого у меня никогда раньше не бывало, – что я, в общем-то, не сама по себе, а часть истории подлиннее, в которой пока еще трудно разобраться, потому что она только начинается, но если я запасусь терпением, то, может быть, что-нибудь и прояснится. Это меня успокоило, мама, и мне даже понравился этот полуразрушенный постоялый двор, который все знают и проезжают мимо, не представляя, что там внутри. Я стала слышать шум воды, струящейся отовсюду, и представила себе путников, направляющихся из Яффы в Иерусалим, которые, как нам рассказывали, лет сто назад останавливались здесь на ночь, и знаешь, мама, мне вдруг стало так легко на душе, я будто бы отключилась...

– От чего? От жизни, от беготни, от университета и от экзаменов, от болей... И я, наверное, могла бы сидеть там часами в своем укромном уголке среди развалин, сидеть и смотреть, как по шоссе в обе стороны несутся машины, следить за тем, как там вдалеке на черном тяжелом небе над долиной Аялон солнце все еще ведет борьбу за существование; и я опять подумала и сказала себе: даже если все это не что иное, как фантазия, почему бы не удостоверить... Ведь этот господин Мани со своей депрессией может, если будет вести себя нормально, скоро стать дедушкой. Поэтому я вышла из своего укрытия и стала ловить попутку, и через полчаса была уже в Иерусалиме, где к тому времени шел настоящий снег, изо всех сил старавшийся окрасить все улицы в белое...

– Да, самый настоящий снег, в среду вечером. Разве не передавали по радио?

– Чудесно...

– Конечно, я помню, мама, что ты практически никогда не видела снега, может, поэтому он меня и не остановил – хотелось получить хоть какое-то, пусть самое малое преимущество перед тобой...

– Самый настоящий, но он только начал падать, и еще не было понятно, удержится ли он на тротуарах, но в этом есть что-то торжественное и благородное, когда вокруг тихо и плавно опускаются эти длинные перышки, как будто я и вправду попала в Европу, и потому я сразу же поехала на ту большую площадь возле Президентской резиденции (там это приятное «европейское» чувство ощущается сильнее) и пошла бродить по улочкам, между домами, которые помнила со вчерашнего дня, глядя, как на них падает снег; теперь уже я пошла посмотреть и на дом премьер-министра, возле него стояла палатка, увешанная призывами «положить конец войне в Ливане», в палатке – двое, сидят, скрючившись от холода, закутавшись в большое пестрое одеяло. Я искала хоть небольшой сугроб, чтобы наступить ногой на снег, и молила Бога, чтоб снег пролежал хотя бы ночь и не растаял так быстро, а сама все еще не могла набраться храбрости идти туда, ведь как мне объяснить ему, почему я вернулась, и не выглядеть при этом жалкой, а выглядеть так я ни за что не хотела, чтобы не дать ему оснований опять выставить меня, даже если он станет делать это со всей своей сефардской обходительностью, но в конце концов ноги привели меня к театру, в котором сейчас не горело ни одно окно. Я спустилась мимо стоянок, на которых не было ни одной машины, и вышла к пустырю возле лепрозория; здесь я с радостью увидела, что снегу, который ветер сметает с тротуаров и дорог и который там тает, тут, на земле, удалось удержаться и образовать сугробики между камнями, и можно даже слепить снежок и кинуть его мальчишкам, выбежавшим посмотреть на снег; и вот я уже вышла на ту длинную улицу, но в его дом не вошла, а вошла в соседний – немножко согреться, потому как на самом деле промерзла до костей, свитер был весь мокрый, хоть выжимай, и я вдруг испугалась: не повредят ли эти мои развлечения крошечному существу, что живет во мне, не замерзнет ли оно, не нарушится ли его генетическая формула, и я решила, что если немедленно не зайду куда-нибудь погреться, то совершу преступление...

– Я так и знала, что ты это скажешь...

– Хорошо, хорошо, пусть будет предлог...

– Да, я согласна, в этом все равно есть нечто жалкое, даже если в тот момент я не думала о себе, а только о том, что живет во мне, и только ради него...

– Хорошо, хорошо, неважно, пусть я вернулась, чтобы выглядеть жалкой. Так вот, я поднялась и позвонила, но ответа, как обычно, не было, и я решила: на этот раз я не буду упорствовать, фантазия или не фантазия, но я от этого всего очень устала. Я спустилась и вышла на улицу в поисках остановки автобуса, и тут я узнала его машину – на заднем сиденье лежала судейская мантия, но и тогда я сказала себе: какое мне дело; если он так уж мечтает покончить с собой, я не в силах ему помешать; не могу же я каждый вечер мчаться из Тель-Авива или из Машабей-Саде спасти его. Я пошла дальше, прошла его улицу и вышла к торговому центру, вполне симпатичному, там было маленькое кафе, и я зашла перекусить и погреться, там я сразу подумала о тебе, что ты, должно быть, уже волнуешься, и первым делом позвонила в мошав и попросила этого добровольца из Германии передать тебе, что я звонила, но тебе, значит, ничего не передали, а потом я присела у окна, и попила, и поела, и еще немножко посмотрела в окно, как снег все еще не сдается, бесславно погибая под колесами машин и ногами людей, топчущих его на тротуарах, и я словно прониклась значением, которое придавал этому снегу господин Мани, хотя и не очень понимала, в чем оно состоит; тут пропиликало девять, и по телевизору в кафе пошел «Маббат»<sup>15</sup>, который начался кадрами: снег в Иерусалиме; и все смотрели, чувствуя торжественность момента, – даже если на улицах снег к утру растает, на пленке он все равно останется, он уже запечатлен, и еще можно было, мама, не роняя достоин-

---

<sup>15</sup> «Маббат» («Взгляд», пер.) – ежевечерняя телевизионная программа новостей.

ства, уехать в Тель-Авив, и я встала и расплатилась, сказав себе: хватит, прощай, Иерусалим; но перед тем, как выйти из кафе, я решила просто так звякнуть – узнать повесился он там уже или все еще примеривается, и вновь то же самое – ответа не было, и я подумала: неужели он опять принялся за свои подлые штучки, конечно, если он еще живой, а если мертвый, то, значит, не стало и второго деда, горько усмехнулась я про себя, и когда маленький Мани появится на свет, то будут вокруг него одни женщины...

– Потому что и Эфи не будет...

– Так...

– Потому что я не строю иллюзий...

– Так... такое у меня чувство...

– Я же сказала тебе, что еще просто не было времени рассказать ему, но я уверена, что вся эта история, ребенок, будет ему не по душе...

– Потому что у него, насколько я знаю, совсем другие планы... Ехать учиться за границу, и только ребенка ему сейчас не хватало. Да и вообще, вообще нельзя знать на самом ли деле у нас любовь или просто так...

– Ну, правда, мама, может, не сейчас... Мы еще поговорим о нем, сейчас ведь я о другом... Так вот, вышла я из кафе и пошла назад по его улице, и заглянула на минуту в его подъезд, только чтобы проверить, вернется ли то приподнятое чувство, чувство того, что я не одна, что меня направляют, но ничего не произошло, никто меня там не ждал, ни автор, ни режиссер, ни оператор, никто, как будто все оставили меня на произвол судьбы, и с этих пор все на моей ответственности. И тут, мама, у меня как-то опустились руки, может быть, от усталости, ведь этот снег, тем более, если его видишь в первый раз, отнимает силы и нагоняет сон, и я сказала себе: хватит, пора раз и навсегда распрощаться с господином Мани, и, не включая света, я поднялась по ступенькам на его лестничную площадку, но не постучала и не позвонила, а просто присела в темноте у дверей немного согреться перед дорогой, и меня разобрала злость: почему это я позволила всем так просто, как ненужную вещь, бросить меня тут в углу, под дверью...

– Всем... всем...

– Да, всем... Всем, кто хотел...

– Неважно, неважно, потом...

– Погоди, погоди...

– Неважно... Ничего я не имела в виду... И тут, мама, в подъезде зажегся свет, и я увидела, как по лестнице поднимается пожилая дама, такая кругленькая и миленькая. Оказалось, что она соседка из квартиры напротив, и, увидев, что я сижу тут, как собака, под дверью, она сразу стала расспрашивать меня, будто мы старые знакомые, и она знает, что я здесь своя: «Что случилось? Опять потеряла ключ?..»

– Да. Она, наверное, меня с кем-то спутала или, может быть, видела, как я выходила утром из этой квартиры. Я пробормотала нечто нечленораздельное, похожее на «да», и этого было достаточно, чтобы она тут же зашла к себе и вынесла мне ключ, запасной, который господин Мани оставляет для Эфи, который часто забывает свой, и я оказалась в крайне неловком положении – с ключом от квартиры, которая...

– Нет. Да, я пыталась потянуть время, дожидаться, пока она зайдет к себе, а потом скорее улизнуть, но она стояла на пороге своей квартиры, желая убедиться, что все в порядке, что я отперла дверь; мне ничего не оставалось, мама, и я тихонечко повернула ключ, капелюшку приоткрыла дверь и улыбнулась ей, мол, большое спасибо, надеюсь, что теперь уж она успокоится и уйдет, однако ничего подобного – она все стояла в потемках и следила за мной с очень живым интересом, поэтому мне пришлось переступить порог и закрыть за собой дверь...

– Нет, я вовсе не собиралась проходить...

– Конечно, мама, а ты что думала? Постоять, затаив дыхание у дверей, а потом сразу назад, наружу, чтобы никто не заметил, если там вообще кто-то есть живой. В квартире было

точно так, как вчера, – все пышет жаром, темно и ни звука, и я подумала: неужели опять та же история? Не стало ли это *противоположное направление* слишком опасным, потому что на этот раз я была уверена, что все кончено, и подумала: хорошо, что по крайней мере у него хватило приличия и такта повеситься вечером, а не среди бела дня...

– Нет, боже сохрани, я вовсе не собиралась пугать его, даже в мыслях такого не было, мама. Я только рассказываю тебе, какие мысли были у меня в голове, а видеть вокруг я еще ничего не видела; хоть я помнила расположение комнат, но глаза медленно привыкали к темноте; постепенно я стала различать знакомые предметы: телефон в гостиной, рядом статуэтка лошади и ряд греческих амфор на полке, а вон там закрытая дверь бабушкиной спальни, и я помню, что сказала себе, мама: ну, Хагар, теперь ты можешь издать надлежащий душераздирающий вопль, крик ужаса, от которого холодеет кровь, ради которого ходят смотреть фильмы с убийствами; только знай, что здесь не кино и не роман и даже не повесть, никто тебя не услышит и не постигнет трагизма случившегося, крик твой останется с тобой, и кровь от него похолодеет только в твоих жилах, так зачем же это нужно? А потому, раз уж ты вошла и тебя видели, иди, посмотри, что там творится, – может, тебе придется потом отвечать на вопросы, так хоть чтобы ты знала, что говорить, и я пошла медленно по коридору, все еще не зажигая света, потому что самого кошмара я себе как-то не представляла, а только его тень, хотя я знаю многих людей, для которых тень намного страшней, чем то, что ее отбрасывает; я открыла дверь и сразу увидела, что комната, которая была чистой и прибранной, когда я уходила утром, опять...

– Нет, теперь ты уж слушай, ты должна выслушать...

– Нет, ты должна, а то, что получается? Ты все время твердишь: фантазия, фантазия, а теперь не хочешь дослушать, когда меня прямо распирает... Так вот, словно тайфун пронесся по комнате, которая была еще утром чистой и прибранной, будто тут кто-то бился в истерику: бросился на кровать и разнес ее, разорвал простыни, разметал по комнате одежду, побросал на пол бумаги, старые фотографии, и опять, словно по внутренней логике того же самого страшного сна, у окна был готов небольшой эшафот, со всеми приспособлениями, точно такой же, тютелька в тютельку, жалюзи плотно закрыты, ни щелочки, ремень спущен и на нем завязана петля, и даже табурет придвинут – все, как в прошлый раз, декорация той же картины, будто каждый вечер он испытывает, себя, пытается убедить, приучить себя к мысли, репетирует самоубийство, и так до тех пор, пока причина не станет достаточно ясной, осознанной и убедительной, чтобы решиться; тут, мама, мне впервые стало его по-настоящему жалко и захотелось чем-то помочь, и вместо того, чтобы встать и поскорее убраться из чужой личной жизни, в которую, как ты правильно говоришь, никто не давал мне права соваться, у меня появилось желание окунуться в нее как можно глубже и дальше плыть против течения, в том самом противоположном направлении, которое меня все время так влечет, словно где-то там огромный магнит; я прошла по коридору до ванной, что рядом с кухней, потому что решила, раз уж все идет по тому же сценарию, значит он сейчас совершает обряд омовения как одно из звеньев в цепи подготовки к смерти...

– Я рада, что ты немножко развеселилась...

– Потому что это действительно смешно: я, как форменная лунатичка, расхаживаю по темной чужой квартире в поисках ее хозяина, чтобы спасти его от навязчивой мысли о самоубийстве. Я, наверное, ворвалась бы и в ванную, но дверь ванной была открыта, также, как и дверь из ванной на маленький задний балкончик, который я не заметила утром, и через нее был виден внушительный силуэт Иерусалимского театра рядом с Домом президента, и там, на балкончике, где держат швабры, ведра и прочую дребедень, стоит мой самоубийца собственной персоной, в пальто, таком широком и тяжелом, что с первого взгляда вообще кажется, что это огромный ворох одежды или шкаф, стоит и спокойно покуривает на свежем воздухе, под открытым, вдруг прояснившимся небом, на котором были теперь видны даже звезды, весь

погруженный в себя настолько, что вообще не заметил, как я вошла. И вот я стою и думаю, как бы мне так осторожно и мягко дать ему знать, что я, мол, тут; в этот момент он вдруг повернулся, и, ты не поверишь, но он испугался куда больше, чем я, просто остолбенел, сигарета выпала изо рта, и он испустил короткий, но устрашающий крик, как будто и он в каком-то фильме или романе, только тут режиссер попросил его закричать по-всамделишному. Он сразу узнал меня и пришел в себя, рассмеялся и даже попробовал обратить все в шутку. «Боже милостивый, – сказал он, – это опять вы? Не верю своим глазам. Вы удивительная девушка, такая настырная. Только скажите, ради всего святого, как вы вошли? Неужто, уходя, прихватили с собой ключ?»

– Да, но совсем беззлобно, так по-хорошему, мама, будто втайне даже рад, что я вернулась спасать его; я стала что-то бормотать про соседку, которая буквально силой заставила меня войти, и он сразу сказал: «Да, это госпожа Шапиро, она всегда беспокоится», – и я уловила в его голосе недовольство, словно он хотел сказать, что эта дама позволяет себе слишком много, почему – ему самому непонятно, а потом он так спокойно и с расстановкой, все еще стоя на балконе, стал рассуждать о снеге, будто старался уговорить себя, а заодно и меня, что я вернулась в Иерусалим исключительно из-за снега, и даже готов был признать, что я правильно сделала, до утра снег растает, вот уже небо прояснилось и, пусть на улице сейчас вроде бы холодно, но этого недостаточно, чтобы снег удержался или снова пошел; и когда, мама, я увидела, как он смущен и как пытается выкрутиться, я тоже пошла на попятную и вместо того, чтобы выложить ему всю правду, ни с того ни с сего стала что-то изобретать и промямлила, что, мол, не только из-за снега я вернулась, а и за тем, чтобы завтра пойти на кладбище, как бы вместо Эфи, которого не отпустили из армии...

– Да, я ему так и сказала, не хотела, чтоб он хоть на секунду подумал, что я целый день хожу за ним по пятам, чтобы помешать ему вешаться. Вначале и он, кажется, был удивлен моим объяснением, как будто бы он и думать забыл про завтрашний день, и это понятно: если он представлял, что к утру будет мертв, то сама подумай, выходит, что один мертвец должен поминать другого; но мало-помалу ему это даже понравилось, моя идея пришлась ему по душе, может, ему очень хотелось поверить, что это и есть причина моего очередного вторжения. Оттуда, из темноты, он кивнул мне со скорбной признательностью и заметил с какой-то странной усмешкой: все-таки жаль, что я женщина, а не мужчина, потому что ему не хватает мужчин для миньяна<sup>16</sup>, а без миньяна он не сможет сказать каддиш<sup>17</sup>.

– Да, очень странно... Я тоже думала, что каддиш это что-то глубоко сокровенное и каждый может прочесть его, когда захочет, но оказалось – нужен миньян, и он даже попытался объяснить мне, почему это так обязательно, и вдруг, мама, когда он говорил, а я смотрела на пустырь рядом с лепрозорием – как причудливо разукрасили его белые пятна снега, – что-то в его словах меня будто задело за живое, меня, мама, вдруг начали душить слезы, я не могла сдержаться и расплакалась, сама не знаю почему, на этом балконе, заставленном ведрами и швабрами.

– Да, ревела по-настоящему, прямо навзрыд и не могла успокоиться, хотя знала, что тем самым как бы даю ему над собой власть, а он будто бы ждал этих слез – стоит себе молча и курит как ни в чем не бывало, и такое чувство, словно он как бы даже меня таким образом хочет немножечко наказать за то, что я так бесцеремонно и неотвязно преследую его целый день, за то, что я позволила себе вмешаться в его жизнь...

– Нет, мама, он, конечно, не прав...

<sup>16</sup> Миньян (букв., счет, *ивр.*) – кворум из десяти взрослых мужчин, необходимый для совершения публичного богослужения.

<sup>17</sup> Каддиш (освящение, *ивр.*) – славословие Богу. Ближайший родственник умершего должен читать по нему каддиш в течение года. Делать это можно только во время общественной молитвы, в присутствии миньяна.



– Нет, он не прав, и ты не права, поскольку то, что вы видите и считаете вольностью и даже бесцеремонностью, для меня, мама, это долг, который исходит из моего естества, как паутинка из паучка.

– Паучка, который шевелится во мне сейчас...

– В которого превратился генетический код...

– Так нас учили в интернате, я помню, как нам объясняли про стадии развития зародыша...

– Я тебе говорю... Я прекрасно помню... Даже таблица была такая с картинками в школе...

– Значит, ты, наверное, забыла или вас по-другому учили...

– Не волнуйся...

– Со мной? Ничего.

– Опять «фантазия»? Тебе от этого станет легче, если все, о чем я тебе рассказываю, ты назовешь моими «фантазиями»?

– Почему ты ищешь того, чего нет...

– Нет, я не знаю, что ты видишь «в дебрях моих историй», о чем я прямо не говорю. По моему, ты все придумываешь...

– Может, ты видела это в дебрях своих авокадо, но никак не «в дебрях моих историй»...

– Боже сохрани, мама... Я вовсе не хочу тебя обидеть...

– Ну хорошо, извини, извини...

– Я прекрасно отдаю себе отчет во всем, что я делала...

– Какая разница? Главное, я-то знаю, что у меня были самые чистые намерения...

– Что?

– Как ты сказала?

– Да ты что? Конечно же, нет...

– Так значит, эта та мысль, которая тебе не давала покоя...

– Спросила бы раньше. Что тут такого?

– Ну так вот, успокойся – мне даже в голову не приходило, даже во сне...

– Потрясающе...

– Но, между прочим, должна сказать тебе по секрету, что обаяние Мани-отца намного сильнее и как бы «подлиннее», чем обаяние сына...

– Этого в двух словах не объяснишь... Вот увидишь обоих, тогда, наверное, поймешь, что я имею в виду...

– Нет, только так, намекнула. Когда мы оказались у дверей бабушкиной комнаты, я взяла и сказала: «Я видела жалюзи опять сломались, и ремень болтается, как веревка на виселице». Он громко рассмеялся, покраснел и сказал: «Да, и в комнате страшный кавардак; я ищу одну вещь и не могу найти. Сегодня вам будет неудобно там спать, лучше в гостиной – диван раскладывается, на нем всегда спит Эфи, когда приезжает». На том разговор закончился, мы прошли мимо этой комнаты, где по утрам порядок, а по вечерам беспорядок, в гостиной он раздвинул диван и принес мне ту же самую доисторическую ночную рубашку с вышивкой и простыни, кое-где драные и несвежие – поди знай, кто на них спал, – я сама или кто-то другой, и так, молча, по-деловому, с невозмутимым видом постелил, устроив меня на ночь, еще на одну ночь в доме.

– Нет, мы и потом почти не разговаривали, будто был заключен договор о мире или по крайней мере о прекращении огня, он перестал сражаться со мной, выделил мне эту комнату, отключил телефон и предупредил: завтра подъем очень рано. «Не волнуйтесь, – успокоила я его, – я же киббуцница, причем из Негева, а у нас в Негеве самые большие специалисты по ранним вставаниям». Он улыбнулся и вышел, притворив за собой дверь. Теперь у меня была как бы своя территория в этой квартире, я погасила свет и открыла окно, чтобы впустить

свежего воздуха – к ночи совсем распогодилось, и небо было спокойным и ясным; я переложила подушку на другой конец дивана и взяла в руки книгу, но оказалось, что я слишком устала, тогда я включила телевизор, сначала совсем без звука, пока не кончился «Маббат», а потом немного прибавила звук, чтобы смотреть фильм, который я то ли видела раньше, то ли не видела; начало было куда ни шло, а к концу оказалось, что полная чепуха...

– С самого начала? Почему? Начало было как раз совсем неплохим...

– Нет, не хотела крутить ему голову, да и не знала, есть ли горячая вода, а ждать не хотела, и, кроме того, ведь утром прямо с кладбища я собиралась помчаться в Тель-Авив, а там уж дома, у бабушки я устрою себе роскошную ванну и голову смогу помыть – пора, мне и самой надоел такой кочевой образ жизни...

– Что? Душ сейчас? Хорошо, хорошо, я скоро...

– Если уже кипяток, выключи бойлер...

– Скоро... скоро... Куда мне спешить? Значит так, проспала я там еще одну ночь, а в пять часов утра он уже стоял у моей кровати, весь в черном: черный пиджак, черный галстук, черная борода и только глаза красноватые от недосыпа, и я не могла понять, что ему так горит нестись на кладбище в такую рань, как будто бабка и вправду ждет его там не дожидаясь. На кухне меня уже ждал завтрак: черный хлеб, маслины и несколько разных сыров, овечьих и козьих, а господин Мани был явно чем-то озабочен, обеспокоен, и вдруг сказал, причем так серьезно и со значением: «Если вас спросят, кто вы такая, скажите, как есть, – что вы подруга Эфи, что должны были приехать вместе с ним, но его в последнюю минуту не отпустили из армии...»

– Да, очень странно, это же надо: «Скажите, как есть», – как будто я хотела или могла сказать что-нибудь другое, придумать что-то такое, что бросит на него тень...

– Я знаю? Что я его новая пассия, с которой он хочет весело провести время на кладбище...

– Нет, я ничего не ответила, честно сказать, я ничего не поняла и только кивнула, и вообще я еще не проснулась и к тому же опять появились эти боли, которые последнее время не дают мне покоя, когда все крутит в животе и в области таза...

– Нет... Как при месячных, но все-таки по-другому, намного сильнее, и только когда мы вышли из дому часов в шесть – было холодно, но уже сухо, небо совсем прояснилось, и лишь кое-где на машинах и на заборах сохранялись следы вчерашнего снега, – только тогда я поняла, чего он так торопился, – у подъезда уже ждали два больших такси, чтобы ехать вслед за нами и собирать по дороге всех, кто пойдет с ним на кладбище...

– Нет, как раз не родственники, я спросила потом...

– Нет, хотя он и принадлежит к какому-то древнему иерусалимскому роду, как раз в Иерусалиме у него родственников почти что и нет, и подбирали мы в основном старушек – вдов, подруг его матери, которые очень хотели пойти на кладбище, если, конечно, погода позволит, и поскольку она позволила, то они встали пораньше, оделись в черное, закутались потеплее и теперь, как одинокие вороны, стояли, нахохлившись, на углах, маленькие тихие старушки, каких любят снимать в греческих фильмах, и господин Мани объезжал эти углы, почтительно и заботливо поддерживал старушек под локоток и усаживал в такси, а если рядом со старушкой оказывался ее муж-старичок в толстом-претолстом кашне, то господин Мани выказывал особую радость – будет миньян, благодарил старичка, тепло обнимал, и все говорили: слава богу, что снег уже кончился. И так, поколесив по просыпающимся улицам Иерусалима с час, он заполнил такси своими старушками, а в машину вместе с нами усадил раввина, подрядчика, который ставил памятник, и адвоката, того, молодого, который выступал вчера на одном из процессов, но до миньяна все еще не хватало двух мужчин, и, хотя раввин и подрядчик говорили ему, пытались успокоить – там, на кладбище обязательно кто-нибудь будет, он

все равно волновался. «Вы забываете, – сказал он раввину, – что это старое кладбище, там уже сорок лет никого не хоронят...»

– Да, мне это тоже показалось странным: неужто так трудно найти десять мужчин для миньяна, неужто у него так мало друзей, что он должен просить шоферов такси остаться, чтобы составить миньян, неужто он так одинок или просто ему неудобно было тревожить людей с утра пораньше, перед работой, заставляя их ехать в такую даль, через арабский район, вдоль стены, огибая весь Старый город...

– Нет, не на самой Масличной горе, а под горой, и едут туда, мама, не мимо университета, а через восточную часть: надо проехать вдоль стены, а потом спуститься и пересечь Кедронскую долину – там очень красиво, старые оливковые деревья, и повернуть прямо к церкви, такой большой, необычной – на фасаде огромные фрески из житий святых, яркими красками...

– Он сказал мне, как она называется, но я позабыла... Ну такая церковь, над которой, выше по склону, есть еще одна, с маленькими золочеными куполами, как бутоны или как луковички. Там надо повернуть в узкий переулок, такой крутой, страшное дело, с обеих сторон глухие каменные заборы, а проезжая часть, ну, не шире, чем у нас дорожки между домами, и переулок как будто висит в воздухе; честное слово, мама, я такой дороги еще никогда не видала; машины ехали с осторожностью, но в каком-то ажиотаже, передние гудели, предупреждая задних, пока наконец не протиснулись через этот переулок, который буквально вынес нас на это старое кладбище...

– Нет, я же говорю тебе, мама, это не на самой Масличной горе, это под горой, туда – вниз-вниз, полно старых могил на голом таком розоватом склоне, а какой оттуда вид – колоссально, перед тобой весь Старый город, эти тяжеловесные мечети на мощеных площадях, купола церквей, раскопки, а дальше белые башни гостиниц в еврейской части, и день был, мама, ясный-преясный, и солнце вставало за нашими спинами. Кладбище очень старое, без дорожек, никаких цветов, ни единого дерева, все голое, разбитые надгробья... место просто удивительное...

– Нет, ты там не была...

– Не может быть, ты, наверное, ошибаешься...

– Нет, туда не возят туристов, это на краю света. Мы как-нибудь съездим в Иерусалим, и я покажу тебе, ты увидишь, – ты там никогда не была, но место действительно удивительное...

– Да, удивительное... Это надо увидеть своими глазами. Даже этот молодой адвокат, который родился в Иерусалиме и прекрасно знает город, был восхищен и очень доволен, что господин Мани пригласил его для миньяна. И вот мы потянулись вереницей, впереди подрядчик, знавший место захоронения, потому что ни дорожек, ничего; раввин побежал наверх звать еще мужчин, а мы с адвокатом и господином Мани поддерживали старушек, вели их между разбитыми надгробьями, на которых кое-где пятнами лежал еще снег, чтобы они, не дай бог, не поскользнулись и не стряслось беды...

– Впечатление потрясающее, если бы только не эти боли внизу живота, которые все больше и больше давали о себе знать...

– Минутку, минутку... Погоди... В том-то и дело...

– Нет... Да, как при менструации, но не совсем. Но слушай дальше: в конце концов мы подошли к могиле с совсем новым надгробием, старушки собрались кружком и стали читать, что на нем написано; видно было, что они очень расчувствовались, а одна начала даже потихонечку подвывать; пока ждали раввина с двумя недостающими мужчинами, подрядчик еще суетился, приводя все в порядок, убирая щебенку, остатки раствора, но не у памятника бабушки Эфи, а на соседней могиле, которую по просьбе господина Мани он расчистил и отремонтировал надгробье; подрядчик что-то объяснял господину Мани и адвокату, стоявшему рядом, все трое склонились над этим надгробьем, я тоже подошла поближе, но разобрать написанное не

смогла, не поняла и дат – они были обозначены еврейскими буквами<sup>18</sup>, только имя было видно отчетливо: «Иосеф Мани». И господин Мани рассказывал адвокату, который уже буквально елозил животом по памятнику, чтобы разглядеть каждую закорючку, как он нашел этот памятник и как собирается восстановить надпись, а когда я спросила: «Это ваш отец?» – он сначала слегка оторопел, а потом рассмеялся: «Что вы! Вы разве не видите, какой это древний памятник? Посмотрите, это же девятнадцатый век. Это, наверное, мой прадед...» Когда он говорил, мне на минуту показалось, что это на самом деле его прадед, который окаменел и превратился в эту надгробную плиту, розоватую, слегка закругленную сверху...

– Нет, могил других его предков на этом кладбище, по-видимому, не было, он бы мне обязательно показал; но, ты знаешь, мама, когда я стояла там в сторонке – чтобы меня считали там совсем уж своей, я не хотела, – у меня было такое чувство, будто я присутствую на такой панихиде, как показывают в кино, на семейном кладбище: эти старушки в черном, господин Мани, импозантный, в черном костюме и в шляпе, читает по книжке, и я подумала: какой же идиоткой надо быть, чтобы представить будто он хочет покончить с собой, – вот он стоит в окружении людей, пришедших почтить его, и так выделяется среди них, и даже рабочие, которых поймал раввин и которых вначале я приняла за арабов, уже надели ермолки, раскрыли тоненькие молитвенники, которые раввин раздал всем, и начали раскачиваться. Я все еще соблюдала дистанцию, но все равно ощущала себя как бы членом семьи, которая была по сути не семьей, а *формулой семьи*, и вдруг, не поворачивая головы, я почувствовала, что *они* опять здесь: автор, режиссер, оператор или черт его знает кто, которые, как я думала, бросили меня на произвол судьбы, но нет, вот они следят за мной издали, с пригорка, они снова берут меня под опеку, а раввин тем временем пропел заупокойную молитву, с таким чувством, в восточной манере, и господин Мани начал наконец читать свой каддиш голосом чуточку сдавленным от волнения, и вдруг взял и разрыдался, так по-бабьи, а вслед за ним завывали и старухи, одна начала что-то выкрикивать, наверное, имя покойной, причем было видно, что кричит она не потому, что так уж убивается, горюет больше других, а просто «по долгу службы», чтобы подбавить жару, разбередить душу; раввин, войдя во вкус, продолжал выводить свои рулады, а я, мама, стояла по-прежнему в сторонке, и все как бы немножко забавляло меня, но в то же время я чувствовала, будто я неразрывно связана с этими старыми людьми, только не сама, а то, что тянет внутри меня, так сильно, что даже голова начинает болеть и кружиться, и такое ощущение, словно что-то вот-вот начнется, но не месячные, а нечто посерьезнее, как будто что-то там корчится и пытается вырваться наружу от всей этой беготни – не упустить господина Мани, не дать ему повеситься на ремешке жалюзи; господин Мани-самый-младший, моя *формула*, бьется, как рыба, пытаясь выпрыгнуть из воды, и я, мама, по-настоящему испугалась, что я потеряю его, прямо здесь, на глазах у всех, и буквально осела на какой-то памятник, чтобы как-то утихомирить...

– Нет, минуточку... я умоляю тебя...

– Ну дослушай... я умоляю...

– Потом... ну потом...

– Нет, крови не было, я бы сразу почувствовала, я это ощущение хорошо знаю, липкое такое; нет, это вообще не было что-то такое... текучее, а как будто лапки шевелятся, щекожут внизу живота, что-то ползает по бедрам...

– Да, как насекомое... Я же сказала: «как паучок», а ты возмутилась, только я знала, что говорю. Это правда тебя так коробит? Ну что поделать? У меня на самом деле было такое чувство, а кому мне еще рассказывать, как не тебе...

– Ладно... Неважно...

<sup>18</sup> Даты по еврейскому календарю обозначаются буквами еврейского алфавита.

– Нет, не гадкое и чужеродное, а наоборот – что-то очень приятное, близкое и родное, что-то, что я могу вот-вот потерять... не знаю, как объяснить...

– Фантазия, фантазия... Может, фантазия... Только откуда ты все это знаешь? У тебя же не было выкидышей...

– Я, мама, перепугалась до смерти... Вся сжалась в комок и решила – с места не сдвинусь... И вот, когда они отчитали что положено и стали собираться в обратный путь, положив по камешку на памятник, я увидела, что господин Мани вспомнил обо мне; он подошел – такой убогатворенный, с чувством исполненного долга после каддиша – и я ему сразу объявила, что хочу еще побыть здесь, мне здесь нравится – такая красота вокруг, такая погода; отсюда я выберусь сама и напрямик в Тель-Авив. Моего состояния он, кажется, вообще не заметил, и, поскольку подрядчик тоже еще оставался что-то доделывать, и, стало быть, он не бросал меня одну, а может, и потому, что уже привык думать, что я, словно шарик на резиночке – как бы далеко ни отскочил, непременно вернется обратно, – сразу же согласился, попрощался легко и непринужденно и повел своих старушек гуськом к такси...

– Подожди... подожди...

– Да, осталась одна. Но дело же было утром, кругом тишина и совсем не страшно, наверху, на Масличной горе, ниже гостиницы, полно людей – евреи, туристы, да и что мне было делать – должна же я была дожидаться пока пройдут эти спазмы, сделать все, что в моих силах, чтобы спасти, не потерять...

– Конечно, не все от меня зависит, мама, но по крайней мере то, что в моих силах... И действительно, через полчаса-час боли прошли, улеглись, осталась только страшная тяжесть в руках и ногах. Теперь я была уже совсем одна – подрядчик, переходивший от одной могилы к другой вниз по склону, в какой-то момент вовсе исчез из виду, и я решила: раз так, надо и сейчас выбирать противоположное направление: не возвращаться, не спускаться в этот головокружительно крутой переулочек вдоль церковных стен, а подняться наверх, где люди, к гостинице... И для него будет здоровее, если я пойду вверх, а не вниз – меньше тряски...

– Да, правильно – «Интерконтиненталь», с этими чудными арками. Снизу кажется совсем близко, белый склон, памятники, все залито солнцем, вроде бы рукой подать. И только, когда я начала взбираться по тропинкам между могилами, перешла с сефардского кладбища на ашкеназское, и у меня уже рябило в глазах от всех этих надписей на надгробьях, я поняла, что на самом деле подъем куда круче и длиннее, чем кажется, а схватки тем временем продолжались, и мне пришлось опять присесть – между камнями то тут, то там все еще прятался снег, – и в этот момент я почувствовала, что сейчас начнется кровотечение и будет выкидыш. Теперь я уже больше боялась за себя, чем за него; я начала по-настоящему паниковать, мама, и из последних сил, которые буквально собирала по капле, устремилась наверх, к дороге, на которой верблюды и пони, покрытые попонами и с колокольчиками, а вокруг туристы из Германии и мальчишки торгуют сувенирами; я чувствовала, что меня ноги не держат и, наверное, так и выглядела, потому что все стоявшие там обратили на меня внимание, и только я подошла к такси, как шофер выскочил, открыл дверь, и не успела я сесть, как он уже завел мотор, и только тогда я увидела, что это арабское такси, но выйти уже было неудобно...

– Нет, может быть, потому что я была одна. Я ему сказала по-английски одно слово: «Хоспитал»<sup>19</sup>, и он сразу мне кивнул, будто ждал этого слова, и так успокаивающе сказал: «Окей, окей», – и рванул с места; я думала, что прямо там, в такси у меня и будет выкидыш, на заднем сидении, но не прошло и двух минут, как он уже въехал во внутренний двор церкви, такой большой и массивной, с другой стороны, ближе к университету, я даже не знаю...

– Правильно, «Августа-Виктория», откуда ты знаешь? Значит, ты представляешь себе... Только это не церковь, как ты думаешь, а больница...

---

<sup>19</sup> «Больница» (англ.).

– Правильно, правильно, та башня, что пониже, такая массивная, бурая...

– Да, именно. Ты знала, что это не только церковь, но и больница, даже в первую очередь больница?

– Да, больница. Въезжаешь во двор, огромный, там целая роща, каменные скамьи, цветники и фонтанчики, больничные корпуса, как в фильмах, которые англичане снимают о своих колониальных владениях в Индии или в Египте, – широкие пустынные коридоры, просторные комнаты с высокими потолками, и каждый шаг, каждое движение отдается эхом, на удивление гулким. Шофер, который весь исходил стремлением мне помочь, как бы желая показать, что, хотя мы ехали всего ничего, тем не менее прибыли куда надо, несколько раз повторил: «Хоспитал, хоспитал», – выскочил из машины, помог мне войти и повел, осторожно поддерживая под руку, в приемный покой...

– А что я должна была ему сказать? «Убирайся» или «Вези меня отсюда, мне здесь не нравится. Ваши больницы ничего не стоят...»

– Нет, скажи, что бы ты хотела? Чтобы я оскорбила его, чтобы прямо в лицо сказала: «Не прикасайся ко мне. Вы все грязные, от ваших пальцев остаются следы»?

– Нет... Я знаю, что ты ничего такого не имеешь в виду, но впечатление... Всегда, когда я рассказываю тебе о чем-то неординарном, что происходит со мной, ты тут же как будто рисуешь себе картину какого-то психоза...

– Погоди... погоди...

– Да, мама, я там осталась...

– Погоди... погоди...

– Нет, только до вечера... Нет, я вовсе не сошла с ума, схватки все еще продолжались, слабость страшная, боялась, что начнется кровотечение, ты себе не представляешь... Я же встала ни свет ни заря, и потому, как только я увидела кровать в комнате, куда он меня привел, как оказалось потом, по ошибке – это был не приемный покой, а просто пустая палата в каком-то отделении, у меня появилось непреодолимое желание свалиться и лежать неподвижно; вокруг стояла полная тишина, казалось, она исходит от высоченных потолков и сводов огромных окон, и мне показалось, что я не только опять вернулась в эту повесть, или книгу, или фильм, который разворачивался с момента, когда я приехала в Иерусалим, а что вся история давно уже кончилась, и сейчас меня как бы прокручивают или перечитывают, и что это совершенно в порядке вещей, естественное завершение всего, что случилось со мной за эти дни. Я разулась, влезла на кровать и улеглась, а шофер – ему, наверное, уже понравилось ухаживать за мной – подложил мне под голову подушку, достал одеяло, укрыл и пошел звать врача или сестру...

– Что такого?

– Почему «безумие»? Оказаться вдруг в полной тишине, лежать под теплым одеялом, смотреть в это огромное глубокое окно на холмы Иудейской пустыни было очень приятно – словно ты в каком-то другом мире. Тем временем шофер все-таки нашел сестру и привел ее, она с первого взгляда определила, что я израильтянка, а не туристка, и на лице ее сразу же появилось выражение отчужденности и, что ли, озабоченности; я начала бормотать что-то нечленораздельное, а тут еще этот шофер, ну просто какой-то комический персонаж, не отходит ни на шаг, внимательно прислушивается, без всякого стеснения – знаешь, как действует на нервы, и я подумала: черт знает что – столько лет учишь этот английский, а в конце концов, когда нужно сказать такие простые вещи, как «беременность», или «выкидыш», или «кровотечение», никак не подберешь нужных слов; тут и шофер стал вмешиваться в разговор и объяснять ей что-то по-арабски, но она сразу же начала выговаривать ему: зачем он привез меня сюда, надо было везти прямо в «Хадасу»<sup>20</sup>...

---

<sup>20</sup> «Хадаса» – крупный медицинский центр, расположенный на территории Еврейского университета, недалеко от «Авгу-

– Да, конечно, я видела, что она не хочет даже начинать осмотр, а пытается уговорить меня встать и ехать на том же такси в «Хадасу», и поскольку она знала английский примерно так же, как я, то усиленно помогала себе жестами, то и дело указывая на шофера и повторяя слово «Хадаса». Таксист же, который уже несколько перепугался от того, что слишком много взял на себя, тоже отчаянно размахивал руками, как бы с воодушевлением зазывая: «Хадаса», «„Хадаса“, джуиш хоспитал»<sup>21</sup>, но я, мама, вдруг уперлась: не двинусь отсюда ни за что, потому что я не только была совершенно без сил после всей этой «кладбищенской эпопеи», но и чувствовала: вот-вот начнется кровотечение, и если я хочу остановить его и спасти своего ребенка, мне ни в коем случае нельзя вставать, и потому я только отрицательно качала головой, свернулась, как зародыш, под одеялом и вцепилась в него, чтобы его с меня не сорвали...

– Да, могли и сорвать... А что? На самом деле ужасно обидно! Что это такое? Если уж я случайно попала к ним, пусть по крайней мере зарегистрируют и осмотрят... Пусть немного полечат, мы же их лечим в наших больницах, да еще как...

– Какие тут могут быть сложности, мама?

– В каком смысле? Чепуха...

– Ничего подобного... Что значит «поняли, что имеют дело с психопаткой»? Не защищай их, просто не хотели... А когда она увидела, что я ни за что не соглашаюсь уходить, то в сердцах выскочила из палаты, и шофер, чувствовавший себя провинившимся, вышел вслед за ней; может, она пошла звать кого-то, но никто не приходил, я прождала еще около часа, кровотечение не начиналось, мне было холодно, потом меня сморил сон, и я дремала, так сладко, время от времени приоткрывая глаза и видя перед собой Иудейскую пустыню, яркий сухой свет с востока; к тому времени я решила, что все успокоилось и теперь я могу пойти в туалет и посмотреть, что там такое на самом деле, может, есть какие-нибудь следы; в коридоре я увидела шофера – сидит на корточках, весь из себя такой подавленный, ждет неизвестно чего – то ли, когда надо будет везти меня в «Хадасу», то ли, когда я расплачусь; я вернулась и дала ему деньги, чтоб он не расстраивался, ведь он не виноват. «Вы ни в чем не виноваты», – сказала я ему, он понял и отсалютовал в знак благодарности; я вошла в туалет – очень старых времен, но устроенный с шиком: просторно, светло, все начищено, надраено, на умывальниках и унитазах внушительных размеров сверкают медные краны; я зашла в одну из кабинок и сняла трусы, крови там и правда не было, но было такое темное пятно, мама, очень страшное, как бы со сгустком внутри, как будто что-то размазалось, будто часть его. Я была в ужасе, мама, и уже готова была заплакать; я завернула трусы в газету, которую нашла там, сменных у меня с собой не было, я просто одернула юбку. Да... Я вернулась в палату, шофера уже не было, по коридору все время ходили, оттуда доносились шаги; я опять забралась в кровать, пролежала еще какое-то время в полном отчаянии, то погружаясь в сон, то просыпаясь до тех пор, пока меня не разбудила та же сестра, сильно встряхнув за плечо, с ней был на этот раз молодой врач с очень смуглым лицом, немного говоривший на иврите; он стал сухо и сдержанно расспрашивать меня, и я рассказала ему все, развернула газету и показала пятно на трусах, он молча посмотрел, потом взял их и подошел к окну, где больше света и лучше видно, а я тем временем продолжала описывать свои ощущения; он слушал внимательно, но не прикасался ко мне и ничего не записывал, да, только слушал и время от времени прерывал меня полусмешливо, полусердито: «С чего вы вообще взяли, что беременны? Кто вам сказал?» Сколько я ему ни толковала про задержку, про даты, про то, что я чувствую, он стоял на своем, совсем, как ты, мама, правда, не в такой резкой форме: «Просто фантазия...» И все время он соблюдал дистанцию, хотя я и не возражала, чтобы он осмотрел меня, но он даже руку не взял, чтобы проверить пульс, как будто был абсолютно уверен: если уж израильтянка явилась в арабскую

сты-Виктории».

<sup>21</sup> «Хадаса», «„Хадаса“, еврейская больница» (англ.).

больницу, так для какой-то провокации, только еще неясно какой. От моего вопроса о пятне, не опасно ли это, он просто отмахнулся: «Ничего страшного, может, это просто...» Я поняла, что он хочет сказать «грязь», но в последний момент он остановился и сказал: «Мазня». Было видно, что он очень доволен собой, что знает такое слово на иврите, и потому повторил его несколько раз...

– Да, и все... Но все-таки он взял трусы, снова завернул в газету и сказал, что пошлет в лабораторию, а потом резко оборвал разговор: «Лучше возвращайтесь туда, – и он как-то неопределенно махнул рукой в сторону запада, – к маме, к папе, обратитесь в больничную кассу, у вас же есть больничные кассы», – и он еще раз повторил «больничные кассы» с таким отвращением, мама, как будто вся его ненависть к Израилю сосредоточилась на больничных кассах. Потом он немного смягчился и сказал, что если я хочу еще полежать, отдохнуть у них час-два, то пожалуйста; сказал что-то по-арабски сестре, и они оба вышли, но она вскоре вернулась, принесла обед и пару чистых трусов...

– Не знаю. А куда мне было спешить? Я хотела еще отдохнуть, и вообще я уже нагрела кровать, а за окном лежала Иудейская пустыня, горы и голубое пятно Мертвого моря удивительной красоты, и я подумала: когда еще мне доведется попасть в такое место, откуда открывается такой вид...

– Да, мама, пустыня... опять пустыня. Я всегда любила пустыню, что-то в ней всегда привлекало меня... Не сбивай меня... А тут еще, мама, это потрясающее голубое пятно посередине...

– Но тут я лежала, мама... под теплым одеялом... лежу себе и смотрю в окно, кругом пустыня, совсем как дома, только с добавкой этой лазури, о которой мы дома только мечтать могли, тут появляется и стадо, снизу, со склона, огромное стадо черных коз, тьма-тьмущая, пастуха не видно – он совсем затерялся среди них, пробегают прямо под окном и исчезают внизу, будто входят куда-то под больницу...

– Часов в пять-шесть, когда начало смеркаться, в палату стали заходить больные, которые были, наверное, днем дома, – пожилые арабки; я быстренько встала, надела туфли и сбежала оттуда, вышла из больницы, спустилась на дорогу, где горел один тусклый фонарь; вдали на чернеющем горизонте вырисовывались причудливые размытые контуры двух городов, наслаивающиеся друг на друга; возле ворот больницы стояли тележки, с которых продавали фрукты и прочую снедь, и я видела, как взгляды всех мужчин устремились в мою сторону, а потом они стали мне что-то показывать жестами – оказалось, что меня зовут из машины, которая развозит по домам персонал больницы, среди них была и та сестра, которая заходила ко мне в палату, она закончила смену и сейчас сидела, уже переодетая, накрашенная и расфуфыренная, она-то и позвала меня, как будто ей стало стыдно, что не хотела принять меня, или, может, она испугалась, что кто-нибудь меня здесь обидит. «Ту Джерузалем»<sup>22</sup>, – сказала она, радуясь случаю оказать такую услугу, как будто сейчас мы были не в Иерусалиме, а за его пределами, и она может подвезти меня туда, как будто это моя единственная возможность и другой не представится, и действительно, в тот момент, в сумерках, на этом холме, с которого было видно, как два города врастают друг в друга, такой город как Тель-Авив, мама, казался вообще чем-то нереальным, лежащим на другом конце света; и вот я поехала в Иерусалим в машине «скорой помощи», с больничным персоналом, закончившим смену, и я должна сказать тебе, мама, что это была просто потрясающая поездка, мы проезжали места, где ты в жизни не была: арабские деревни внутри самого Иерусалима, спускались в вади<sup>23</sup>, где кое-где еще лежал снег, колесили по темным улицам, где сплошные ухабы и огромные лужи, а потом вдруг вырвались на свет, а там – оживленный торговый центр с яркими вывесками, взрослые и дети с корзинами,

---

<sup>22</sup> «В Иерусалим» (англ.).

<sup>23</sup> Вади – русло пересохшей реки, потока (араб.).



ослики, все вокруг приветливые, благодушные, как будто и самим им живется неплохо и даже к нам они уже привыкли; водитель, который вынужден был еле тащиться, продираясь сквозь эти узкие улочки, то и дело высовывался из окна, заговаривал с прохожими, перебрасывался с ними шутками, каждого из пассажиров он довозил до самого порога, мы сделали большой круг и выехали прямо к Яффским воротам Старого города, где вышла последняя медсестра. Я тоже хотела выйти, но шофер показал мне жестом, что готов отвезти меня куда мне надо, в еврейскую часть; он спросил адрес, чтобы показать, что он знает и этот и тот Иерусалим, я не хотела морочить ему голову и сказала: «Неважно, где-нибудь поближе к театру, где вам удобнее», – и у меня появилось чувство, что впервые за три дня я еду не в *противоположном направлении*, а в правильном, естественном, по течению; теперь мы ехали по улицам мне знакомым, только утром они были безлюдными и пустыми, а сейчас здесь тоже кипела жизнь, и хоть от снега не осталось и следа, было такое впечатление, мама, что одного воспоминания о нем достаточно, чтобы наполнять сердца людей особой радостью, словно они выстояли в противоборстве со стихией. И вот я опять перед Иерусалимским театром, и час примерно тот же – где-то полседьмого, но на этот раз здание освещено, и у входа много людей, я же, мама, ни секунды не колеблясь, так, словно это совершенно естественно, прохожу мимо лепрозория и поворачиваю на ту улицу – будто возвращаюсь домой, будто я с этого дня коренная жительница Иерусалима, такая пожилая восточная еврейка, от которой веет арабским духом; честно говоря, мама, я совсем забыла о его самоубийствах, просто хотела попрощаться, убедиться, что он не слишком переживает наше неожиданное расставание. Только приблизившись к его дому, я заметила, что во всем квартале нет света, не горят ни окна, ни уличные фонари; я в темноте поднялась и постучала в знакомую дверь, и опять, как обычно, мама, ответа не было; ничего, подумала я, он не открывает по уже выработавшейся привычке, достала ключ, который дала мне соседка, – он так и остался у меня – и открыла дверь; на этот раз квартира имела другой вид: везде горели маленькие свечи. И вот я вижу, как из ванной комнаты выходит он, бледный и испуганный, в пижаме, в руках бритва, лицо уже без бороды, но все в порезах, и по шее течет кровь...

– Да, мама, кровь...

– Ничего подобного, никакая не фантазия... совсем не фантазия... Увидев, что это всего-навсего я, он улыбнулся, как ребенок, которого застигли за проказой, какой-то смущенной улыбкой, а может, и чуть насмешливой, но даже если и была в ней капелька насмешки, то мне ничуть не было обидно, потому что сказал он мне так: «А я уже начал волноваться, моя юная леди, почему это вы не возвращаетесь?» И я, мама, была так тронута, его голос звучал совсем по-новому, он говорил свободно, раскованно, особенно мне понравилось это чудное «моя юная леди», и я, как сомнамбула, прошла по коридору, схватила его за руку и сказала тихо и проникновенно: «Умоляю, не делайте этого больше», – и я увидела, мама, что мои слова застали его врасплох, поразили, он провел рукой по лицу, по шее и, увидев, что на руке кровь, перепугался до смерти; тут раздражение, которое он вызывал у меня все время, как ветром сдуло, как будто в этот момент я наконец поняла, что он абсолютно не властен над импульсом, который толкает его каждый вечер на самоубийство, потому что, на самом деле, у него, мама, нет никаких причин, ему только кажется, что есть, а то, что он считает причиной, исходит вообще не от него, а от кого-то другого, откуда-то извне...

– Может, это то, что покойная бабушка оставила после себя в квартире, оно теперь преследует его денно и ночно, и он идет на поводу, даже не понимая, что это лежит вне его...

– Нет, мама, ты послушай... Я умоляю, не заводи свое: «Чепуха, чепуха...» Послушай...

– Да, от чего-то извне, от кого-то другого... Ш-ш... Сиди тихо...

– Подожди... Сиди тихо...

– Не надо, не открывай... Только не сейчас...

– Скажешь потом, что уже спала... Разве тебе и поспать нельзя?

– Нет, врать не надо, но невозможно же так – прямо как в автобусе: двери открываются автоматически, членам киббуца вход свободный...

– Ш-ш...

– Что «некрасиво»?

– Ш-ш...

– Ну, слава богу, убрались... Кто бы это мог быть?

– Лучше я вообще погашу свет... Значит, слушай...

– Да, нечто мистическое, именно это я и чувствовала там, но вместо того, чтобы сжаться вся, как пружина, напрячься, как наверняка поступила бы ты, я, наоборот, расслабилась, мне стало совсем спокойно на душе...

– Чепуха, щетина была только предлогом...

– Чтобы пустить в ход бритву...

– Я знаю... Я знаю...

– Я же видела...

– Ты не веришь, мама, потому что не хочешь верить, потому что твоя мудрость – это мудрость коллектива, которая только выглядит такой великой и всепобеждающей, тем более здесь, в пустыне, но немедленно поджигает хвост, испуганно и жалко, стоит появиться на горизонте хоть капельке мистики, и все же ты будешь всегда и везде следовать этим принципам с железной логикой солнца, неизменно светящего в полдень... Но я, мама, не испугалась, не испугалась я этого господина Мани с его самоубийствами, мнимыми или всамделишными, я поскорее нашла полотенце, чтобы приложить к ране и остановить кровь. Потом мы сидели в кухне, я зажгла еще свечи, и мы пили молоко – кофе вскипятить нельзя было, потому что не было электричества, и мы заговорили, впервые за три дня, прямо и откровенно, и я почувствовала, мама, что между нами существует уже союз, и, хотя условия его не оговорены и даже не ясны каждой из сторон, союз этот достаточно тесный, тесный настолько, что я могла ему рассказать даже про то, что случилось со мной на кладбище и как я попала в больницу «Августа-Виктории»; он слушал очень внимательно и совсем не пришел в ужас от мысли, что во мне и вправду живет новое семя, даже если это семя его сына, и поэтому он, в отличие от тебя, мама, не пытался в первую очередь свести все к каким-то психологическим маниям, потому что он считает психологию лишь отражением жизни, а не чем-то сильнее ее. И вот он сидит на кухне, прижимая к шее полотенце, время от времени отнимая его и разглядывая красные пятна. При этом он явно старается выказать мне свое расположение, рассказывает об Августе-Виктории<sup>24</sup>, немецком кайзере, о том, что было в этом здании до того, как его переоборудовали в больницу. А когда я рассказала ему о том, как меня везли через арабские кварталы Иерусалима, где я никогда не была, он стал сокрушаться: как жаль, что я возвращаюсь в Тель-Авив, не увидев настоящего Иерусалима его предков, потому что как раз завтра, в пятницу, он идет на базар в Старый город, ведь в пятницу не бывает заседаний суда... Я, мама, была очень рада, что он все же верит в мою способность покинуть наконец пределы Иерусалима, вернуться в Тель-Авив или в Негев, что я не буду до конца его дней каждый вечер врываться в его квартиру, поэтому я тут же сказала: «Как раз завтра утром, перед отъездом я могу пойти с вами, потому что так же, как у вас в суде нет заседаний по пятницам, так у нас в университете по пятницам нет занятий...»

– Ничего не делали... Ждали пока включится свет, а он включился только в одиннадцать, значит, не было ни телевизора, ни радио, ни отопления, ни горячей воды для душа, оставалось только сидеть в темноте и в холоде, закутавшись в одеяла, как какие-то призраки; можно было читать при свечах газету и разговаривать, я расспрашивала его про Крит, где он родился, он

---

<sup>24</sup> Августа-Виктория – супруга германского кайзера Вильгельма II. Она построила здание, где ныне расположена арабская больница, в 1898–1910 гг.

мне показывал семейные снимки, фотографии Эфи, когда он был маленький, и в конце концов постелил мне постель в комнате бабушки, где я спала первую ночь...

– Нет, комната была сейчас прибрана и выглядела абсолютно нормально, может, когда ему в голову пришла идея «бритья», отпала необходимость сооружать виселицу...

– Я не смеюсь, мама... Я вообще все эти дни не смеялась ни разу, я очень серьезная, страшное дело, я и сейчас с трудом сдерживаюсь, чтобы не побежать в столовую и не начать звонить, чтобы узнать, живой он там или мертвый... Ш-ш... ей-богу, кто-то ходит под окнами... Не может быть... Может, это вообще ищут меня, а не тебя...

– Когда я приехала, меня видели возле столовой...

– Какой свет?

– А, да, конечно, только где-то к полуночи, а я все ворочалась и ворочалась, не могла уснуть, ведь по сути я провалялась весь день; перед глазами все время проходили картины: пустыня с синеющим пятном Мертвого моря, стадо черных коз, исчезающих внизу под окном; а среди ночи зазвонил телефон, на этот раз господин Мани соизволил ответить, это был – я сразу поняла, хотя слышала только то, что говорилось на одном конце провода, – это был мой Эфи, бедняжка, торчащий на заставе возле Бейрута, им туда привезли полевой телефон. Отец рассказал ему о том, что было утром на кладбище, но при этом ни словом не упомянул обо мне – что я приехала, что все ему передала, что осталась, что вернулась опять, что тоже ездила на кладбище, – словно боялся, что ему придется сказать, что я тут рядом за стенкой, словно боялся, будто подумают, что у него с сыном одна женщина на двоих, и я пришла в ужас, не от него, а от себя – вот к чему приводят страстные поиски фигуры отца...

– Да... да...

– Признаю... признаю...

– Да, да...

– Может, ты и права, может, только фантазия, только мании... Ты довольна? Так тебе приятнее?

– Для меня? Для меня? Ты, кажется, действительно думаешь, что я не совсем вменяемая...

– Да... да... ты так, наверное, и думаешь...

– Нет, я не плачу, я совсем не плачу...

– Так просто...

– Мамочка... мама...

– Утром? Ничего не было. Мне уже некуда было деться и пришлось идти с ним на рынок. Устала как собака. Он облачился в одежду, про которую можно сказать «не новая, но очень практичная» – без галстука, свитер, старый пиджак, – и сразу утратил весь свой лоск и обаяние; на рынке он ходил от прилавка к прилавку, волоча за собой кошелки, и высматривал, где можно сэкономить несколько грошей; потом потащил меня к Стене плача<sup>25</sup>, как будто я никогда там не бывала, оттуда мы спустились в Кфар-Шилоах – провести каких-то его знакомых арабов; по дороге он все время разглагольствовал об арабах, но так, что не разберешь, что он о них на самом деле думает: ненавидят они нас или любят, ждут не дождутся, чтобы от нас избавиться, или связаны с нами одной нитью, безобидные они или вероломные – ничего у него не поймешь; но мне Иерусалим уже порядком надоел, а тут еще повеяло субботой – знаешь, как бывает в Иерусалиме, людей на улицах становилось все меньше; я боялась, что перестанут ходить автобусы<sup>26</sup> и я там застряну, поэтому я начала ему мягко напоминать, когда увидела, что он уж слишком увлекся: «Как вы думаете, мы не опоздаем на автобус? Я ведь должна непременно

---

<sup>25</sup> Стена плача – часть уцелевшей после разрушения Иерусалимского храма (70 г.) стены, окружавшей Храмовую гору. По традиции, установившейся еще в V в., евреи молятся у этой стены, оплакивая падение Храма – духовного центра еврейского народа на протяжении почти тысячи лет его истории.

<sup>26</sup> Еврейский общественный транспорт почти во всех городах Израиля в субботу не работает.

попасть сегодня в Тель-Авив». Наконец это возымело действие: он отвез меня на автовокзал и поставил в очередь на тель-авивский автобус, но в последний момент я передумала и вскочила в автобус на Беэр-Шеву, чтобы приехать к тебе, мама, моя единственная, и с порога выпалить: «Послушай, что приключилось», – и я прекрасно знала, что ты скажешь: «Вот еще одна история о том, как Хагар ищет отца». Да, ты права, ты опять права, мама, что поделаешь, я знаю, что ты права, но я знаю и то, что там, где, кончается твоя психология, есть еще нечто – более глубокое, может, даже непостижимое; вот ведь ты не выходила замуж все эти годы, храня верность тому, чья фотография белеет сейчас в темноте. Он невозмутим, наш покойник, он существует лишь на одной фотографии, но он реальнее всех нас, он эталон, на который мы равняемся; вот и сейчас он глядит в темноту, как дух, но он не фантазия; он и сейчас во мне, и я не знаю, мертв он или жив.

## Постскрипtum

**Хагар Шило.** Хагар вернулась на следующий день в Тель-Авив, но толком подготовиться к экзамену по английскому ей все же не удалось, потому что в субботу вечером у нее начались месячные, которые проходили тяжелее, чем обычно: острые боли и сильное кровотечение. Про себя она предпочитала называть это «небольшой выкидыш», а не просто «задержка». Все пришло, однако, в норму, когда Эфраим Мани вернулся из армии и их связь возобновилась. О своей поездке в Иерусалим она рассказала ему весьма туманно, да он и не слишком интересовался, потому что все еще никак не мог прийти в себя после тяжелой службы в Ливане, а дома его ждала уже новая повестка в армию. Историю с «беременностью» она вообще не упомянула, чтобы не отпугнуть его, а через две-три недели действительно забеременела, но на этот раз без особого «энтузиазма», как будто чувствовала себя обязанной привести в исполнение то, о чем уже рассказала его отцу. Узнав об этом, Эфраим вначале возмутился, испугался и пытался разорвать отношения, но потом, по совету отца, который считал ее крайне странной девицей, решил признать отцовство.

Ребенок, вполне благополучно родившийся осенью 1983 года, был назван Рони в честь погибшего отца Хагар, несмотря на сомнения ее матери в правильности такого выбора. Хагар успешно окончила подготовительные курсы, но начать учебу на отделении кинематографии не смогла, потому что бабушке Наоми, хотя она и была молода душой, ухаживать за младенцем оказалось не под силу. Когда ночью ребенок плакал, Хагар спала как убитая и вставать к нему приходилось Наоми, отчего она совсем сбилась с ног, и Хагар пришлось вскоре после рождения сына вернуться в киббуц. К тому же оказалось, что информация, поступавшая от Ирис, касательно помощи Министерства обороны, несколько преувеличена. Отдел по оказанию содействия родственникам павших был не настолько либерален, чтобы взять на себя содержание «незаконнорожденного», и после длительного обивания порогов Хагар удалось добиться лишь увеличения пенсии, которую она получала как дочь погибшего на войне.

Эфраим Мани упорно отказывался жениться на Хагар, потому что считал себя обманутым. Он согласился признать ребенка в плане формальном (но не «эмоциональном», как он выражался) и обязался выделять на его содержание треть своей официальной зарплаты (в 1987 году это составляло четыреста шекелей). В отличие от Эфраима, его отец, Габриэль Мани, или *«господин Мани»*, как продолжала называть его про себя Хагар, привязался к внуку и время от времени наезжал поиграть с ребенком. На эти посещения, участвовавшие после отъезда Эфраима в Англию для продолжения учебы, наложили свой отпечаток и особые отношения, установившиеся у Габриэля Мани с Яэль.

Хагар, которая первое время чувствовала себя в киббуце одиноко и сиротливо, все же, когда ребенку исполнилось шесть лет, поступила в Беэр-Шевский университет. Она подала документы на два отделения – истории еврейского народа и педагогики. Благодаря тому, что она проучилась год на подготовительных курсах в Тель-Авивском университете, ее приняли, несмотря на то, что у нее не были сданы все экзамены на аттестат зрелости.

Сейчас ей двадцать восемь лет, она до сих пор не замужем, но и слышать не хочет о том, чтобы посещать сеансы психолога или, по крайней мере, обратиться к нему за советом, как настоятельно рекомендуют ей мать и подруги матери.

**Яэль Шило.** Когда Яэль стало известно, что ее дочь не беременна, на душе у нее легчало. Она была очень рада, хотя пыталась и не показать этого в разговоре с Хагар. Но не прошло двух-трех недель, и Хагар, возобновившая связь с Эфраимом Мани, действительно забеременела. На этот раз она была не столь откровенной, и Яэль узнала об этом, когда уже поздно было даже думать о прерывании беременности.

Яэль встретила это известие неприязненно. Рождение ребенка она считала совершенно излишним и была уверена, что он послужит источником всяческих бед, которые свалятся на Хагар в будущем. К тому же она почему-то упорно воспринимала беременность дочери как некую провокацию, направленную лично против нее. Отказ Эфраима Мани жениться на Хагар был тоже, по мнению Яэль, оскорбительным и унижительным, но в силу прогрессивного воспитания, полученного ею, она не могла отрицать его право на такое решение. В первые месяцы беременности дочери Яэль все еще надеялась на чудо: а вдруг выкидыш, но этого не случилось. После рождения ребенка в начале октября 1983 года Яэль радовалась в душе, что Хагар не возвращается в кибуц и пытается продолжать учебу в университете. Но вскоре стало ясно, что семидесятипятилетней бабушке с ребенком не справиться, и спустя некоторое время Хагар пришлось бросить учебу и вернуться в Негев. Когда Яэль увидела, как ее дочь с младенцем выходят из грузовичка, который отвозил ящики с плодами авокадо в Тель-Авив, ее отношение к ребенку и к дочери в один миг резко переменилось, как будто ей открылся смысл происходящего, более глубокий, чем версии, которые роились в ее голове до сих пор. С этого момента она стала со всем усердием ухаживать за младенцем и помогать дочери.

Молодой отец, Эфраим Мани, иногда приезжал навещать ребенка, но в его отношении к сыну и к Хагар не было теплоты, и его редкие посещения были тягостны для всех. Однажды, в начале весны 1984 года, когда Эфраим опять был в армии в Ливане, вместо него приехал его отец, судья Габриэль Мани, который не видел внука со дня обрезания<sup>27</sup>.

Этот визит все вспоминали потом с удовольствием – и не только потому, что дед привез чудные подарки внуку и Хагар, – а в первую очередь потому, что господин Мани был так мягок и обходителен по отношению к обеим женщинам и так интересовался всем, что видел вокруг. Когда он узнал, что могила Бен-Гуриона<sup>28</sup> в Сде-Бокере находится всего километрах в двадцати от Машабей-Саде, он выразил горячее желание побывать там, раз он уже попал в Негев, и Яэль вызвалась сопровождать его.

Поездка в Сде-Бокер, посещение музея и могилы Бен-Гуриона заняли полдня, и когда они оба вернулись в кибуц, Хагар заметила какой-то новый блеск в глазах матери. Как только машина господина Мани скрылась из виду, дочь, не в силах сдержать удивления, накинулась на мать с вопросами, и та в полном смущении была вынуждена признать, что этот человек ей понравился, хоть он и из совсем другого, незнакомого ей мира.

Спустя две недели он приехал опять, по обыкновению весь в черном, в узком красном галстуке, и на этот раз попросил Яэль показать ему дорогу в Мицпе-Рамон – он хотел полюбоваться видом большого кратера.

Эта поездка, которая была еще продолжительней предыдущей, настолько сблизила их, что на обратном пути Яэль, как бы полусуто, осмелилась спросить его, не подумывал ли он и вправду о самоубийстве тогда, в декабре 1982 года, когда Хагар приезжала к нему в Иерусалим. Он, казалось, совсем не удивился этому вопросу, словно ждал его, но в конце концов уклонился от прямого ответа, как будто речь совсем не о нем. Со своей стороны, он рассказал, что в поведении Хагар в те три дня он заметил определенные странности, что объясняется, возможно, впечатлением, которое произвел на нее Иерусалим. Когда они вернулись в кибуц, он сразу же уехал в Иерусалим, отказавшись зайти даже на минутку выпить кофе.

Но знакомство не прервалось, и после того, как Эфраим уехал в Лондон писать диссертацию, Габриэль Мани взял на себя его обязанность навещать ребенка. Он приезжал раз в две-три недели, в субботу или в будний день, неизменно в темном, очень любезный и обходительный. Брал внука на прогулку, и они бродили по невысоким желтым холмам в окрестностях

<sup>27</sup> Обрезание (брит-мила, *ивр.*) – согласно Библии, символ завета (союза) еврейского народа с Богом. По еврейскому религиозному закону, обрезание совершается на восьмой день после рождения ребенка.

<sup>28</sup> Давид Бен-Гурион (1886–1973) – лидер еврейского рабочего движения в Эрец-Исраэль, первый премьер-министр Израиля. Его могила и мемориальный музей находятся в кибуце Сде-Бокер в Негеве.

киббуца. Потом господин Мани усаживался в обществе двух женщин на лужайке перед домом и рассказывал: о своих предках, о процессах, которые он ведет.

В разговорах он никогда не касался политики, не затрагивал идеологических тем. Казалось, что у господина Мани нет четких позиций в этой области, а если и есть, то он предпочитает их не афишировать. Куда с большим интересом он слушал других.

Несмотря на его расположенность, судейскую предупредительность и умение слушать, Яэль поняла, что на быстрый роман надеяться не приходится и нужно терпение. В то же время оказалось, что ландшафт пустыни не отпугивает его; наоборот, когда Яэль показывала ему окрестности, он, казалось, не мог наглядеться на пустыню.

Как-то раз Габриэль Мани упомянул, что из Иерусалима в Беэр-Шеву он ездит через Хеврон. Яэль сказала, что эти места, где дорога проходит через арабские деревни, очень опасны. Но он уверял, что жители деревень миролюбивы и он не видит причин не сокращать таким образом путь. Он рассказал, что однажды остановился там у бензоколонки, разговорился с арабами, и они предложили ему купить лошадь. Но в начале осени 1987 года в машину господина Мани бросили камень, и он признал, что Яэль была права: через Хеврон ездить не стоит. Тем не менее, добавил он, эта дорога его чем-то очень привлекает.

## Диалог второй

### Ираклион, Крит, 1 августа 1944 года, вторник, вторая половина дня Беседуют Эгон Брунер и Андреа Заухон

**Эгону Брунеру** двадцать два года. Он родился в 1922 году в поместье возле Фленсбурга, земля Шлезвиг-Гольштейн. Отец – Вернер Заухон, мать – Мариетт Брунер.

Адмирал Вернер Заухон (р. 1861), один из прославленных немецких командиров времен Первой мировой войны (особо отличился в сражениях на Балтике), и его жена Андреа потеряли в 1916 году единственного сына Эгона – он погиб в окопах Вердена. Вначале они думали усыновить ребенка одного из родственников, но эти надежды не оправдались – младенец, которого они себе присмотрели, скончался вскоре после появления на свет. Тогда, находясь на грани отчаяния, они решили после долгих колебаний, но с обоюдного согласия, что молодая служанка по имени Мариетт Брунер, сирота, принадлежащая к семейству, которое уже много лет верой и правдой служило роду Заухон, тайно родит ребенка адмиралу.

Этот продолжатель рода сохранит определенную связь с матерью и, являясь ее незаконнорожденным сыном, будет носить фамилию Брунер, но воспитание он получит в семье Заухон «с прицелом на усыновление» и после того, как ему исполнится двадцать один год, сможет получить часть наследства, если, конечно, окажется достойным этого.

Когда Эгону исполнился год, мать ушла со службы в доме Заухон и переехала в Гамбург. Там она вышла замуж за режиссера рабочего театра Вернера Раймана и родила теперь уже законного сына. Эгон рос в поместье отца, и ему было позволено называть отца и его жену просто дедушка и бабушка, а порой еще непосредственной: «опа» и «ома»<sup>29</sup>. Ему наняли частных учителей, которые приходили на дом, но в то же время он посещал и сельскую школу неподалеку от поместья. Воспитанием Эгона занималась в основном «бабушка» Андреа. Она уделяла этому много времени, задавшись целью дать ему воспитание, ни в чем не уступавшее тому, которое получил ее сын, павший в бою. Эгон был худощав, светловолос и слегка близорук. В учебе он отдавал явно предпочтение гуманитарным предметам. Поначалу во время каникул его неизменно отправляли к матери и отчиму в Гамбург, но после смерти «деда-отца», последовавшей в 1935 году, когда у отчима Эгона начались неприятности с полицией в Гамбурге, где заправляли нацисты, а семейство Райман предпочло переехать «в глубинку» – на юг Баварии, свидания Эгона с матерью свелись к минимуму.

В 1940 году, в девятнадцать лет Эгон был призван в вермахт. По просьбе «бабки», его, в соответствии с традицией рода Заухон, зачислили во флот. По причине близорукости его направили на курсы санитаров в Гамбург, которые он окончил в начале 1941 года, но на военное судно распределен не был, поскольку в марте того же года немецкая армия стала перегруппировывать свои силы в связи с тайными приготовлениями к открытию русского фронта и многих солдат и офицеров флота, которому отводилась весьма второстепенная роль в этой войне, переводили в пехоту.

В апреле 1941 года, опять же стараниями «бабки», Эгон был прикомандирован к Седьмой горнострелковой дивизии, расквартированной под Нюрнбергом, а месяц спустя он был назначен санитаром Одиннадцатой десантной бригады, пополненной перед отправкой на балканский фронт. 16 мая Эгон в составе этой бригады был переброшен в Афины, а 20 мая во

---

<sup>29</sup> Опа, ома – «дедушка», «бабушка» по-немецки, в уменьшительно-ласкательной форме.



второй половине дня, когда немцы высаживали второй десант на Крит, был выброшен с парашютом над островом вместе с другими бойцами спецподразделения под командованием генерала Штудента. Хотя военная часть Эгона, понесшая очень тяжелые потери, была отозвана в Германию вскоре после того, как остров был завоеван, его самого оставили при гарнизоне на Крите.

В коротких и редких открытках, которые он присылал «бабке» в это время, Эгон обещал, что на вопрос, почему он добивался отчисления из отборной части, он ответит при личной встрече. Однако от первого отпуска, полагавшегося ему в апреле 1942 года, он отказался в пользу товарища, который собирался жениться. Второй отпуск, в феврале 1943 года, был отменен в последний момент из-за паники в армии после разгрома под Сталинградом.

В апреле 1944 года Эгон решил наконец использовать причитающийся ему отпуск. На транспортном самолете он добрался до Салоник, а оттуда стал продвигаться на север вместе с большой колонной, но она была атакована партизанами и вернулась назад. Тогда Эгон решил отказаться и от этого отпуска и возвратился на Крит. Письма Эгона не доходили до адресатов, потому что по классификации военной цензуры Крит уже проходил под грифом «Восток», а с 1942 года письма солдат с «Востока» проверялись особо строго и очень часто задерживались. Письма от «бабки» Эгон получал тем не менее исправно, изредка приходили письма и от матери. Через штаб ВМС ему были пересланы также «Илиада», «Одиссея» и книги по греческой культуре. В конце июля 1944 года он узнал, что Андреа собирается приехать к нему в гости, и действительно, в один из первых дней августа, вскоре после полудня небольшой самолет, на котором она прилетела из Афин, приземлился в аэропорту Ираклиона.

**Андреа Заухон** (девичья фамилия – Куртмайер) родилась в 1870 году в Любеке в семье пастора. В 1894 году окончила курсы сестер милосердия и пошла работать в госпиталь, где и повстречала морского офицера Вернера Заухона, который навещал своих солдат, получивших ранения на учениях в Балтийском море. Они поженились в 1896 году, и в конце этого года, прожитого ими в офицерском корпусе на базе императорского военно-морского флота, у них родился сын, которого они нарекли Эгоном. Вскоре Вернер был повышен в чине, и супруги переселились в его родовое поместье в герцогстве Гольштейн, где и растили сына.

Когда вспыхнула Первая мировая война, юноша был призван под знамена и после непродолжительной подготовки отправлен на французский фронт. Там он погиб, едва дожив до двадцати лет. Андреа переживала его смерть намного тяжелее мужа, который был в то время занят войной, отличился на ней и удостоился высоких наград. Но после поражения Германии и подписания Версальского договора, когда Вернер Заухон вышел в отставку, он начал понимать глубину трагедии, постигшей его семью. Через некоторое время родители попытались найти замену погибшему сыну, и им это удалось, причем рождение сына-внука в 1922 году произошло на основе полного обоюдного согласия Вернера и Андреа и глубочайшего доверия между супругами. Не желая, не дай бог, причинить даже малейшую неприятность жене, адмирал настоял на том, чтобы ребенок носил фамилию матери хотя бы до двадцати лет. Когда Эгон-второй появился на свет, Андреа исполнился уже пятьдесят один год, но она тем не менее всем сердцем, как молодая мать, отдалась его воспитанию; заботилась она и о том, чтобы ребенок не терял связь со своей биологической матерью, которая через год покинула поместье без притязаний на что бы то ни было. Сама Андреа довольствовалась тем, что ребенок зовет ее «бабушка».

Известие о приходе к власти нацистов чета Заухон встретила с интересом и даже со сдержанными симпатиями – оба верили, что положение Германии теперь улучшится и в ней восторжествуют закон и порядок. После смерти мужа в 1935 году Андреа стала единолично руководить воспитанием Эгона. Когда он был мобилизован в армию, она установила прямую связь с командованием его части и регулярно получала отчет о ходе его боевой подготовки. Узнав,

что группу военнослужащих ВМС переводят в пехоту накануне вторжения в Россию, Андреа позаботилась о том, чтобы Эгон был среди них и чтобы его направили в отборную часть. И действительно, в начале 1941 года Эгон был переведен в десантную дивизию. Андреа, не располагавшая в пехоте такими связями, как во флоте, не могла теперь следить за каждым шагом «внука» и вообще на некоторое время потеряла его из виду, что стоило ей немало нервов, однако тревога сменилась ликованием, когда пришло известие о том, что Эгон был среди доблестных участников штурма острова Крит в мае 1941 года. Участие Эгона в этом бою было для нее как бы полученной через много лет компенсацией за гибель Эгона-первого в окопах под Верденом, и она с нетерпением ждала возвращения домой усыновленного героя. Однако Эгон не вернулся в Германию со своей Седьмой горнострелковой дивизией. Он остался на Крите, писал редко, его открытки были очень короткими – казалось, он что-то скрывает. Трижды она напрасно ждала его на побывку, и в конце концов шестое чувство ей подсказало, что Эгон не жаждет встретиться с ней. Она много писала ему и даже послала по его просьбе Гомера и книги по истории Древней Греции. То, что Эгон не вернулся со своей десантной дивизией, чтобы в ее рядах продолжать сражаться на востоке, а остался при гарнизоне на Крите, в менее престижной части, показалось ей очень странным.

В начале 1944 года, когда Германия терпела поражение за поражением на всех фронтах и союзники уже высадили десант в Нормандии, Андреа представила себе, что никогда больше не увидит Эгона, и ее охватил ужас. Тогда, используя свое влияние в высших военных кругах, где ее хорошо знали, она попыталась добиться, чтобы его перевели в Германию и он смог защищать свою землю в решающем сражении, которое, казалось, должно разразиться со дня на день. Госпоже Заухон удалось добыть приказ о переводе Эгона, подписанный генералом одной из армий в Берлине, но, будучи послан по бюрократическим военным каналам, этот приказ по дороге на Крит где-то затерялся. Андреа не сдавалась. Она сколотила группу из вдов, в прошлом – жен морских офицеров, сражавшихся вместе с ее покойным мужем в Первой мировой войне, и они потребовали от командования предоставить им возможность побывать в Афинах и посетить исторические памятники, «пока они еще не возвращены врагу». Благодаря тому, что Андреа знала все входы и выходы, благодаря ее упорству, а главное – славному имени мужа, она добилась своего: делегация престарелых вдов действительно отправилась через всю Европу в Грецию. Они благополучно добрались до Афин и осмотрели все достопримечательности. Их фотография на фоне Акрополя была помещена на первой странице «Франкфуртер цайтунг».

Но целью Андреа были не Афины, а Крит – она хотела собственноручно вручить командиру Эгона приказ о переводе «внука» в Германию. Все прочие вдовы вернулись домой, но она осталась в Афинах и уговорила местное командование выделить ей небольшой самолет с пилотом, который доставил бы ее в Ираклион. За сутки до вылета в штаб на Крите была отправлена телефонограмма, оповещающая о предстоящем прибытии престарелой почтенной дамы, которая будет, разумеется, счастлива увидеться после трех лет разлуки с «внуком», не имевшим, между прочим, ни малейшего понятия о приказе, добытом «бабушкой».

### **Реплики госпожи Заухон в приведенном ниже диалоге опущены.**

– И хотя я знаю, как вы устали, милая моя бабушка, – да и как не устать, даже если вы выкованы из стали, что не вызывает сомнений, ведь ваш потрясающий марш-бросок через всю Европу – это еще один сокрушительный ответ маловерам, – я все же позволю себе на этот раз настоять на своем, и прежде, чем самым подробным образом ответить на все ваши вопросы, ради которых вы приехали издалека, вопросы, которые вы уже задали, и те, которые собираетесь задать, позвольте мне все же сделать по-своему и повести вас прямо так, как есть – в этом чудном дорожном наряде и в высоких ботинках, которые я сразу заметил, когда вы сходили по трапу, – прекрасная обувь для путешествий, просто загляденье, как мудро вы поступили,

выбрав именно их; тут сказался, конечно, военный опыт, накопленный дедушкой... Я с таким удовольствием бросился бы вам на шею, дорогая бабушка, но все вокруг смотрят на нас, и мы должны соблюдать приличия, а потому я очень прошу – позвольте мне пригласить вас на прогулку, именно сейчас, пока не улеглось еще волнение встречи, удивительной, невероятной и роковой, да, роковой, происходящей именно здесь и именно в этот час; давайте поднимемся вместе на этот холм, который вы видите перед собой...

– Нет, бабушка, это вовсе не гора. Вы родились на равнинах Гольштейна, и каждый бугорок кажется вам горой, а это всего лишь холм, причем весьма небольшой, горы выглядят совершенно иначе, на этом острове есть и они, самые настоящие горы...

– Потихоньку, гуляючи, мы дойдем едва ли не до самой вершины, вон той, покатою, которую так хорошо видно отсюда...

– Совершенно верно.

– Абсолютная правда.

– Да, потому что видимость сегодня поистине превосходна, но я не знаю, бабушка, сможете ли вы определить на глаз глубину пространства, которое открывается перед вами сегодня, когда светила Вселенной словно надраены в вашу честь, остров орошен лучезарным вином, облака будто отмыты душистым мылом. Ведь то, что вы видите на нашем промозглом севере, это только половина мира, здесь же пред вами предстанет та половина, которая скрыта от вас. С утра все не нарадуются на погоду: «Смотрите, какое сегодня ясное небо в честь вашей бабушки Заухон...»

– Да, все знают о вашем приезде, все очень оживлены, наш начальник гарнизона Бруно Шмелинг даже собирается устроить вечером небольшой торжественный прием в вашу честь... в честь старой доброй Германии...

– Он, конечно, ждет вас, но пока, я умоляю, бабушка, давайте не терять ни минуты, сейчас как раз идеальное время дня, чтобы начать нашу прогулку; не торопясь, мы пройдем весь путь, сделав пять остановок, и на каждой из них я буду рассказывать то, что наметил, строго по порядку, ведь порядок – это то, что вселяет уверенность, придает завершенность; не так ли вы утверждали всегда, и я с вами полностью в этом согласен. Времени у нас мало, всего несколько часов, и мы не вправе тратить его на пустые разговоры, предаваться воспоминаниям детства, мы перейдем сразу к сути, к самым насущным вопросам, потому что, конечно, вы правы, бабушка, я три года молчал, не баловал вас письмами, не решался покинуть этот остров, боясь, что не вернусь сюда никогда больше, даже от отпусков отказывался, зная, что причиняю тем самым боль вам, а может быть, и матери, но кто знает, может, в глубине души я хотел завлечь вас сюда, на этот остров, который мы все скоро покинем, остров, которым мы так восхищались с первой минуты и который тем не менее остался для нас загадкой. И вот мне это удалось – вы приехали. С того незабвенного момента, когда по телефону мы получили столь невероятное и столь радостное сообщение о вашем приезде, бабушка, я непрерывно думаю о том, как наилучшим образом принять вас здесь, и даже – поверите ли? – даже повторяю про себя и отгачиваю речь, которую собираюсь произнести... ха-ха... всю ночь я не сомкнул глаз...

– Не страшно, уж в чем в чем, а в сне недостатка здесь нет – первую зиму мы спали без просыпу, и мне до сих пор хватает тех запасов...

– Поправился? Может быть... Ведь до последнего времени здесь была тишь да гладь – местные жители относились к нам хорошо, англичане окапывались себе в своей огромной пустыне в Северной Африке, русские были на грани полного краха, никто не осмеливался нарушать наш покой... да и чистый воздух, как известно, возбуждает аппетит...

– Да, бабушка, от спячки нас сперва пробудил Сталинград, потом наступление в Италии, а сейчас высадка на побережье Франции; как называется это место?

– Точно. Так постепенно пробуждаемся и мы, даже в таком спокойном месте на краю света. Ну что, пойдем?

– Нет, это совершенно необходимо, я убежден, и поверьте мне, бабушка, я совсем не пытаюсь от чего-то увиливать, я готов ответить на все вопросы, причем со всей чудовищной прямоотой, как у нас с вами издавна принято. Разве вы не знаете своего внука? Стал бы я так настаивать на этой прогулке, если бы считал, что мы можем поговорить, не прибегая к помощи окружающей нас природы? Потому что это не просто природа, она одна из героев моего повествования, и надо поторопиться, чтобы нас наверху не застигла темнота; дело не в том, что кто-то из нас двоих, может быть, боится темноты – в последнее время на острове все больше и больше «подрывных элементов», и уже вышел приказ: в темноте не ходить меньше чем впятером, мы же, бабушка, с какой стороны нас ни считай, как ни крути, за пятерых никак не сойдем... ха-ха...

– Да, здесь темнеет намного быстрее, не забывайте, насколько вы сейчас южнее. Ведь это как-никак самая южная точка рейха – пока еще; здесь, на тридцать пятой параллели, сумерки очень короткие, я бы сказал, какие-то худосочные, это вам не нескончаемый завораживающий медный закат на болотах и в лесах Шлезвига; я помню, как я вначале буквально подышал от тоски по этим закатам, по охотничьему домику, в котором мы так славно проводили время...

– Сгорел?

– А мостик? Нет, не отвечайте, лучше мне этого не слышать...

– Но для чего понадобилось бомбить его? Неважно... мы все отстроим...

– Конечно, я в это верю... Как можно не верить... Ну хватит, бабушка, нам пора, все готово, тропинка хорошая, правда, немного извилистая, но склон вполне сносный; сегодня утром я еще раз прошел весь путь, все проверил, поставил себя на ваше место, прикинул, по силам ли это вам, даже прихватил с собой лопату, подравнял кое-где на поворотах, расчистил там, где было много колючек, вырубил три ступеньки, отметил мысленно те места, где мы остановимся передохнуть; за час мы поднимемся на вершину, там на заброшенной турецкой позиции есть скамья, на которой вы, бабушка, сможете сидеть сравнительно удобно – это место защищено от ветра, если таковой поднимется, но он не поднимется – и сможете спокойно любоваться закатом... В рюкзаке для вас приготовлен бинокль, видимость сегодня, как уже было сказано, превосходная, такой случай нельзя упустить; представьте себе, бабушка, что не вам, а опе Заухону посчастливилось бы попасть сюда, разве он и в свои восемьдесят три года упустил бы возможность произвести рекогносцировку, осмотреть те места, где родилась наша Европа? А посему, бабушка, скажите себе так: хотя бы ради него я поднимусь и погляжу, и мои глаза будут его глазами...

– Спасибо... спасибо, моя несравненная бабушка...

– Да, Европа... разумеется, дева... разделившая ложе с Зевсом...

– Потихоньку, потихоньку, я знаю, конечно, конечно; я даже обвязал вокруг пояса веревку и сделал на конце петлю, чтобы вы могли за нее держаться, вам будет спокойнее, и я буду уверен, что вы застрахованы от малейшей опасности; о вас когда-нибудь еще напишут если останется кто-нибудь, кто захочет писать о нас, – как фрау Андреа Заухон, вдова героя Балтики, в семьдесят четыре года, в самой южной точке великого рейха, который тысячу лет уже, я боюсь, не просуществует, дай бог, тысячу дней, причем каждый следующий день будет труднее предыдущего, легкой поступью взошла на холм возле аэродрома и взирала на Ираклионский залив...

– Солнечные очки? Конечно...

– Фляга у меня с собой...

– Да, он заряжен...

– Нет никакой нужды...

– Хорошо, возьмем этот плащ, только я его понесу...

– Нет, совсем не безумие, вы увидите...

– Положение здесь резко ухудшилось за последний месяц, все вокруг слушают Би-би-си, так что кажется, будто земля у нас под ногами с утра до вечера вещает по-английски, сами же англичане не приближаются, – зачем им? – они спокойно дождутся, пока мы уберемся отсюда...

– Еще одно кровопускание? Здесь и так пролито достаточно крови. Три года назад на этом острове полегло семь тысяч немецких солдат. Неужели вы хотите еще крови? Нет...

– Как его оборонять, бабушка, ведь мы у них как на ладони, словно голые на балконе? Каждая рыбацья лодка – видите, сколько их у причала? – наверняка шпионит за нами, каждый добросердечный мальчишка из тех, что так простодушно играют у нашего штаба, давно уже их тайный агент...

– Совершенно верно...

– Каждая лодка... неважно...

– Да, и тот ялик. Почему бы нет? Все возможно...

– Может быть... Местные жители уже заботятся о том, чтобы доказать свою благонадежность англичанам, замолить вину – ведь три года они давали нам жить, и совсем неплохо, и, стало быть, каждое наше движение фиксируется англичанами на Кипре, когда оно еще в самом зародыше. По этой причине, бабушка, видите, там...

– Да, там... Ваш самолет уже увозят с посадочной полосы и маскируют ветками, но все напрасно, потому что рыбацьи лодки уже перемигиваются между собой, и не пройдет и часа, как врагу на Кипре станет известно о прибытии на Крит важной персоны, только уж очень их озадачит, наверное, ее словесный портрет, ха-ха... «Каково стратегическое значение этой бабуся? – призадумаются полковники и генералы в штабе британских войск. – Какие контрмеры надо предпринять?»

– Нет, я совсем не преувеличиваю, я поражаюсь, как вас доставили сюда. Многие рисковали жизнью, неся вас на крыльях аэроплана над горящим рейхом. Это еще одно свидетельство могущества имени нашего опы, он ведь легенда, которая сияет в десять раз ярче в этот предзакатный час. Не исключено, бабушка, кто знает, может, в нашем генштабе кто-нибудь думает так: если вы пролетите над линией фронта, то, может, вдруг припомните какой-нибудь план атаки, которую вынашивал тридцать лет назад опа Заухон, какой-нибудь тайный маневр, который позволит хоть что-то спасти, ведь катастрофа близится неумолимо, все рушится, куда ни глянь...

– Нет, молодежи здесь это имя ничего не говорит, но Шмелинг, получив известие о вашем прибытии, сразу вспомнил, растаял и стал выговаривать мне: почему я все время молчал?

– Ни слова...

– Не хотел... С тех пор, как я оказался на этом острове, я ни разу даже не обмолвился о том досточтимом роде, имя которого я, может быть, удостоюсь носить...

– Без всякой причины, бабушка... Знаете...

– Просто не хотел, чтобы от меня все время ждали какой-то особой военной прыти, опасаясь в конечном счете разочаровать всех и навлечь позор на нашу голову... С того момента, как меня списали из штурмовиков и прикомандировали к гарнизону... Ведь все равно так или иначе... Бабушка, посмотрите скорее направо! Видите, там на горизонте, над морем...

– Станьте здесь...

– Обопритесь на мою руку.

– Да, там... Видите часть небосвода, которая вот-вот разгорится и будет пылать, как раскаленное сердце? Так вот, бабушка, точно из этого сердца мы вынырнули три года назад, из-за самого солнца, направив его лучи, как стрелы, прямо в глаза англичанам, которые только усаживались пить свой пятичасовой британский чай с крекерами. Из розовеющего жерла вынырнули в одно мгновение пятьдесят самолетов, которые сейчас стали уже легендой, и австралиец, стоявший на часах, спокойно дожидаясь заката, увидел в небе сверкающие точки, гул моторов

еще не достигал его ушей, и, может быть, в первый миг он протер бинокль и не понял, почему они не исчезают, ибо кто мог представить столь блистательную операцию, которую, с другой стороны, никто не назвал бы иначе как отчаянным актом образцового самоубийства...

– Да, бабушка, ведь и мы сами, то есть те немногие из нас, которые были вообще способны думать, те, которые давали себе труд призадуматься, не те молодые волчата, члены стаи, для которых мир с тридцать шестого года превратился в большой школьный двор, где они пинают ногами земной шар, как старый тряпичный мяч, и, если бы они получили приказ выпрыгнуть с парашютом над английским генштабом и броситься на его штурм, то выполнили бы этот приказ, не колеблясь, точно так же, как они вторгались в Голландию или Польшу, но мы, те немногие, кто был способен и готов хоть чуточку думать, сидели, понутив головы в тяжелых касках, с затаенным страхом смотрели на водную гладь, бегущую под нами, и спрашивали себя: зачем понадобился нашему демону этот странный далекий остров, если не для того, чтобы закатить лучших солдат на жертвеннике собственного величия, бьющего из него через край, и таким образом запугать не только весь мир, но и саму Германию. И тогда, бабушка, меня начала бить дрожь от жалости к себе и страха за свою жизнь, которой суждено вот-вот прерваться, и знаете, о ком я вдруг подумал в тот момент: о «дяде» Эгоне – я завидовал ему, уже принявшему свою смерть...

– Да, я думал и о нем, бабушка, и мысль о том, что вам предстоит пережить горечь еще одной утраты, так потрясла меня, потрясла в самом прямом смысле, что носилки, с которыми я как санитар был неразлучен, буквально заходили ходуном, и командир нашего полка оберст<sup>30</sup> Томас Штанцлер, человек большого достоинства и всеми уважаемый, сидевший напротив меня, – каску он все еще держал в руках, и луч солнца, проникавший через круглый иллюминатор, блеснул у него на лысине – заметил, по-видимому, что происходит с носилками, усмехнулся, сочувственно положил руку мне на плечо и сказал так: «Вы, рядовой Брунер, похожи на какую-то странную птицу. Вы – как Икар, пытавшийся взлететь в небо с Крита. Но помните, Брунер, ваши крылья из стали, они не расплавятся на солнце». И я, бабушка, вспомнил эту легенду, и на глазах выступили слезы благодарности к нашему эрудированному командиру, который еще через несколько минут был тяжело ранен, а в тот момент напомнил мне миф о Дедале и Икаре, и благодаря этому в памяти моей всплыл образ старого учителя, которого вы приглашали ко мне...

– Кох, совершенно верно, бабушка, Густав Кох... старик-классицист со своими мифами...

– Как же, как же...

– Конечно, я его помню...

– Я был слишком мал? Ничего подобного, я все прекрасно понимал... Ведь это он утверждал, что заржавевшая ныне цепь немецкой истории ковалась в глубинах этого моря, которое вы видите сейчас перед собой, ибо оно и есть – любил повторять старый учитель – подлинное лоно, голубое и теплое, всего, что составляет суть немецкой нации...

– Верно. В общем, в тот самый миг в самолете, который сбавлял высоту, – болтанка ужасная, грохот моторов, я весь спеленут ремнями от парашюта, рюкзака, носилок, автомата, каска сползает на лоб, очки, которые я по глупости не засунул поглубже в карман, привязаны сзади шнурком от ботинок – в тот самый миг страх как рукой сняло и на смену ему, бабушка, пришло даже какое-то воодушевление, прилив сил, как будто я наконец ощутил истинный вкус войны и стал полноценным звеном ржавой железной цепи старого Коха, которая словно чьей-то мощной рукой переброшена сейчас через Альпы и неумолимо разворачивается в воздухе, чтобы через несколько минут обрушиться на головы наших античных предков. Мох Шварцвальда и пар над болотами, мимо которых шли полчища гуннов, растворятся в теплой морской

---

<sup>30</sup> Оберст – полковник (нем.).

волне, и тевтонские сны, не дающие нам покоя, получают истолкование в белом мраморе статуи Эллады... И поэтому, когда загорелась красная лампочка, зазвенел звонок и послышались лающие команды сержанта, открывшего люк, когда молодые волчата вскочили все, как один, дослали патрон в стволы своих «шмайсеров» и, испустив боевой клич, стали исчезать один за другим, враскоряку вываливаясь из брюха самолета, я вдруг что есть сил закричал вместе с ними так, что мною мог гордиться старый школьный учитель Кох, и меня втянул в себя тот простор, который раскинулся сейчас перед вами...

– Совершенно верно...

– Да, отсюда туда...

– Еще минута, только, пожалуйста, осторожно, эта ступенька для вас высока, дайте мне руку...

– Возле оливкового дерева, там мы сделаем первую остановку, а пока наслаждайтесь видом и представляйте себе, как я с криком выпрыгиваю из ревающего самолета и меня тут же подхватывает порыв ветра, как бы мой, персональный, который специально дожидался меня. Сначала он пытается сорвать с меня очки, затем выдергивает из-за спины белый купол и раздувает носилки, которые торчат у меня за плечами, как огромное, но одно единственное крыло странной птицы, потом с неимоверной скоростью проносит меня над береговой линией, которую вы видите вон там; воздух полнится криками моих товарищей, молодых волчат, – кто не в силах сдержать изумления, кто кричит от боли, – а меня увлекает куда-то в сторону, за тот холм, к белым домишкам, разбросанным между холмами, мне, бабушка, они напомнили кусочки рафинада, которые опа любил посасывать перед сном... вон туда... и с силой бросает на оливковое дерево, возле которого пасется стадо черных коз, встретивших меня индифферентным молчанием...

– Вон там, бабушка... Видите черные точки?

– Да, там... на том же самом месте... Ей-богу, они стоят там уже три года, днем и ночью, летом и зимой, возрождаясь из ничего, плодясь и размножаясь между кустов, которые они объедают...

– Да, многие, бабушка, погибли еще в воздухе... Их души сократили себе путь к Богу, расставшись с телами в небе... За какие-то две минуты, бабушка, была уничтожена почти вся моя рота...

– Вы не поверите, бабушка, но все это натворили два проклятых австралийца с одним пулеметом. И знаете, откуда они стреляли? Вы можете догадаться...

– И все-таки, бабушка, посмотрите хорошенько... Вы ведь вдова великого полководца...

– Нет, бабушка, они стреляли с того самого места, где вы стоите сейчас... Их позиция находилась вон там, под скалой, и если слегка копнуть землю, то наверняка найдешь гильзы трехлетней давности. Теперь вы понимаете, почему я так настаивал на этой прогулке – чтобы вы поняли мой рассказ – с самого начала и во всех нюансах...

– А с какой стати вам вообще должны были рассказывать о потерях? Чтобы омрачить радость народу и бросать тень на великого гения родом из Австрии? Только знайте, бабушка, сотни и тысячи сложили головы в этой операции... О том, сколь ужасны наши потери, мы узнали лишь спустя несколько месяцев: самолеты разбивались, все, кто был в них, погибали, десятки тонули, парашюты не желали раскрываться, загорались, цеплялись один за другой. Я спасся чудом, может быть, благодаря носилкам, бабушка, которые, сыграв роль паруса, позволили ветру отнести меня далеко ото всех, за тот холм, и если бы я не запутался в парашютных стропах, застряв между ветвей оливкового дерева, в полуобморочном состоянии, весь в синяках и без очков, то и я бы, наверное, бросился на поиски какого-нибудь англичанина или австралийца, который был бы готов всадить в меня пулю. Но вместо этого я остался висеть на дереве, видя мир вокруг себя как в тумане, окруженный черными козами с бородками – пастух, как видно, сбежал; они начали приглядываться ко мне, тихонько позванивая колоколь-

чиками, и я, который сроду не видел таких коз, бабушка, боялся в тот момент пуще всего не пуль англичан и не кинжалов греков, а именно этих созданий – как бы они не взобрались на дерево и не покусали меня...

– Дружелюбные? Нет, они просто тупые и безразличные животные. Когда мне наконец удалось при помощи скальпеля, который был в моей санитарной сумке, освободиться от парашютных строп и спуститься с дерева прямо в гущу этих черных коз, ни одна из них и ухом не повела, они продолжали обгладывать кусты, будто с неба свалился камень, и я действительно, как камень, рухнул на землю и пролежал какое-то время без движения, все тело болело, особенно рука, которую я повредил, и главное – все вокруг я видел весьма расплывчато, как в пятом классе, когда я еще ни за что не хотел носить очки.

– Нет, сознания я не потерял, но был совершенно огорошен тишиной, не нарушаемой ни единым звуком.

Это было так неожиданно, что мне пришлось сделать вывод: атака провалилась, все погибли или попали в плен...

– Да, так я и лежал до сумерек, и в какой-то момент на меня снизошел странный покой – я примирился с мыслью, что фюрер послал своих лучших сынов проливать кровь на скалах этого далекого острова, только чтобы показать Европе: он может добраться до самых истоков, где она зародилась. А поскольку я хорошо помнил десять заповедей, полученных нами в Афинах перед вылетом, и особенно шестую из них, которую мы услышали из уст самого барона Фридриха фон Хайдте: «Ни при каких условиях не сдаваться, только смерть или победа увенчают вас славой», – я побыстрее перевязал руку, нашел расселину, раскрыл там носилки, улегся на них, приготовил автомат и стал ждать пока появится кто-либо, желающий сразиться со мной, достойный того, чтобы в бою с ним я отдал жизнь. Вскоре я начал различать звон цикад, который с тех пор, бабушка, не затихает уже три года, я слышу его непрерывно, днем и ночью, однако до сих пор не могу решить, вызывает он у меня ненависть или восторг...

– Да, прислушайтесь, словно огромное опахало, сотканное из этого стрекота, колыхнется над островом, и тишина от этого становится как ни странно еще глубже...

– Они тут и там, повсюду, на ветках среди листвы, их не видно, но – прислушайтесь – они пиликают и пиликают...

– Вот именно...

– Все так же, на той же ноте... Монотонное стрекотание, которое распиливает тишину на сухие щепки. Может, оно тогда оказало на меня гипнотическое воздействие, так что я не слышал взрывов и выстрелов со стороны аэродрома, который совсем не был, как выяснилось впоследствии, погружен в могильную тишину, окутавшую для меня весь мир...

– Позже... в тюрьме, когда я вновь и вновь обдумывал происшедшее со мной в тот день...

– Да, было что-то... сейчас-сейчас...

– Я не хотел огорчать вас...

– Да, это было одной из причин моего молчания...

– Но минутку... Ведь это *моя история*, это неотъемлемая часть рассказа, который вы слышите из моих уст, и если вы не совсем еще устали, мы взойдем на самый верх и вы собственными глазами увидите аэродром, который был все же взят через несколько дней ценой кровопролитных боев свежими частями, высадившимися с моря, и оттуда началась персональная военная кампания на острове Крит рядового Эгона Брунера, который оказался на время за кормой истории и, сам того не ведая, бабушка, угодил в предысторию, запутавшись в стрекоте цикад, который не прекращался всю ночь. Простимся теперь с оливковым деревом, под которым я закопал свой белоснежный купол, и со стадом коз, которых я перестрелял из своего «шмайсера», чтобы они не шли за мной, звеня колокольчиками, и не привлекали внимания, потому что я твердо решил, бабушка, клянусь вам, ни за что не сдаваться в плен, а попытаться прорвать окружение или вступить в бой, но только с таким противником, из-за



которого не жалко и умереть. Я пошел на юг, бабушка, посмотрите хорошо на эти два прелестных холма, которые австралийцы, по рассказам греков, окрестили «чарлиз» – так они в шутку называют женские груди, а мы переименовали их во «Фридрих большой» и «Фридрих маленький», поскольку сразу обратили внимание на то, что они неодинаковы по высоте. Так вот, представьте себе, бабушка, Эгона-второго, ковыляющего между этими «чарлиз» ночью 20 мая 1941 года, близорукого, с автоматом и тяжелым рюкзаком, в котором перевязочные материалы и паек на три дня, носилки тоже по-прежнему болтаются за спиной, – в общем, такое впечатление, что если его тяжело ранят, он сможет сам оказать себе первую помощь и вынести себя из боя; шагающего на юг под безлунным небом, но таким, какого он никогда не видал у себя на родине, – буквально сверкающем от обилия звезд, названий которых он не знал; вдыхающего запах гари; проходящего мимо виноградников, в которых он находил на ощупь кисловатые плоды; обходящего темные домики с плотно закрытыми ставнями; держащегося в стороне от шоссе, с которых время от времени доносился глухой рокот машин, – все на юг и на юг, в надежде, быть может, повстречать героя слышанных от Коха греческих мифов, с которым стоит скрестить оружие...

– Не торопите меня, бабушка, умоляю вас, позвольте мне изложить вам все, что я наметил, по своей системе и в выбранном мною темпе; главное – доверьтесь мне, я сам знаю, как и что рассказать. Завтра мы расстанемся, и кто знает, когда нам доведется встретиться вновь и доведется ли вообще, и поверьте мне, бабушка, это самая короткая из всех возможных редакций моей истории, я даже написал на ладони план – что рассказывать во время каждой из остановок, поэтому, ради бога, бабушка, проявите терпение. Сейчас, поднявшись еще немного, мы сможем проследить мой путь, это очень важно, потому что нашлись такие, которые называли его потом трусливым бегством или – в лучшем случае результатом ошибки, допущенной при панике, я же считал, что совершаю отважную вылазку, под покровом ночи пробираюсь в то самое светлое лоно, о котором так отреченно говорил старый Кох, и я знаю теперь, что если когда-либо нас потребуют объяснить, зачем мы начали эту ужасную войну, причем начали совершенно сознательно и преднамеренно, зачем проливали кровь, сеяли страдания, мы будем знать, что ответить, мы не будем стоять, понуря голову и заикаясь, как после той злосчастной войны, когда нас обвинили в оккупации Франции только ради того, чтобы наша кровь смешалась с кровью французов и англичан; они не понимали, что в глубине души, сами того не сознавая, мы стремились тогда, как и сейчас, на юг, в древнюю Элладу, на такой остров, как Крит, остров, бабушка, поистине изумительный; сюда, по моему скромному убеждению, влечет нас и та главная потребность, которая живет в наших сердцах: ведь больше всего на свете мы хотим – как бы сформулировать это попроще – раз и навсегда выйти за пределы истории, в будущее или прошлое, и если бы французы не заартачились и не легли тогда – в первой войне – костями на границе, мы, возможно, не тронули бы их и пальцем и прошли по их земле как туристы, ведь мы, немцы, на самом деле и есть туристы, страстные туристы, и нам приходится иногда завоевывать те или иные земли, чтобы нам не мешали как следует наслаждаться туризмом...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.